



И. Я. ЛЕВЯШ

ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР И ГЕОПОЛИТИКА



**КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ**

2
КНИГА

Глобальный мир и геополитика

Илья Левяш

**Глобальный мир и геополитика.
Культурно-цивилизационное
измерение. Книга 2**

«Издательский дом “Белорусская наука”»

2012

Левяш И. Я.

Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное измерение. Книга 2 / И. Я. Левяш — «Издательский дом “Белорусская наука”», 2012 — (Глобальный мир и геополитика)

В монографии рассматриваются проблемы синтеза постдисциплинарного знания о глобализации и геополитике, обосновано новое направление исследований — геоглобалистика, раскрываются ее культурно-цивилизационные основания и авторская интерпретация сущности глобализации как уникального процесса современности. В системно-синергетической оптике представлена структура глобализации, эволюция научных представлений о ней в направлении от классической геополитики к глобалистике. Значительное внимание уделяется феномену «нового регионализма», особенно его европейскому измерению, и в этой связи — полиаспектное видение России, в целом — «славянского треугольника» СНГ, их позиционирование в контексте «нового Востока». Отмеченная проблематика рассматривается в контексте современных неклассических вызовов и угроз глобальной, региональной и национальной безопасности, в конечном счете — представлений о глобализации как планетарном фронтире. Рассчитана на научных и практических работников, аспирантов, магистрантов и студентов-дипломников.

© Левяш И. Я., 2012

© Издательский дом “Белорусская наука”, 2012

Содержание

Введение	6
Часть VI	7
1. Самоидентификация России в глобальном мире	7
1.1. Метафизика и аксиология смыслов	7
1.2. От наследия к Современности	12
2. Гетерогенность Запада – дилемма для России	21
2.1. Ракурс Россия – США	21
2.2. Европейский выбор России: pro и contra	27
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Илья Яковлевич Левяш
Глобальный мир и геополитика:
культурно-цивилизационное
измерение. Книга 2

Рецензенты:

доктор политических наук, профессор, В. А. Мельник

доктор философских наук, профессор, В. Ф. Мартынов

Введение

В монографии «Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное измерение» рассматривается междисциплинарная проблематика синтеза геополитики и глобалистики на их культурно-цивилизационных основаниях и в результате – формирования такого инновационного направления социогуманитарного знания, как *геокультуральная глобалистика*.

Работа состоит из девяти частей, размещенных в двух книгах. Вторая книга включает в себя VI–IX части монографии.

Часть VI «Россия: испытание наследием и современностью» – верификация России с позиций не темпоральной, а сущностно понятой современности, тест ее витальной силы и исторической перспективы.

В части VII «Россия и новый Восток» выясняется сущность определения Востока по критерию способности к модернизации, комплекс особых отношений России с ведущими государствами азиатского треугольника Китай – Индия – Япония.

В части VIII «Неклассические вызовы глобализации» излагается авторская интерпретация основных вызовов и угроз современности – концепции и практики стабильного развития, проблемы войны и мира, террористической угрозы.

Часть IX «Глобализация как планетарный фронт» является интерпретацией эволюции смыслов термина «фронт», как характеристики транспограничных коммуникаций, к определению его современного глобального масштаба и последствий.

В тексте используется аббревиатура журналов: «Беларуская думка» – БД, «Вестник Европы» – ВЕ, «Вопросы философии» – ВФ, «Иностранная литература» – ИЛ, «Литературная газета» – ЛГ, «Літаратура і мастацтва» – ЛіМ, «Мировая экономика и международные отношения» – МЭиМО, «Международный журнал социальных наук» – МЖСН, «Международная жизнь» – МЖ, «Московские новости» – МН, «Независимая газета» – НГ, «Общественные науки и современность» – ОНС, «Свободная мысль» – СМ, «Социально-гуманитарные знания» – СГЗ, «Социально-политический журнал» – СПЖ, «Россия в современном мире» – РСМ, «Россия в глобальной политике» – РГП, «Современная Европа» – СЕ, «Философские науки» – ФН.

Книга адресована студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям учебных курсов социальной философии, политологии и культурологии, а также всем субъектам, вовлеченным в процесс глобализации и регионализации мира.

Часть VI

Россия: испытание наследием и современностью

1. Самоидентификация России в глобальном мире

1.1. Метафизика и аксиология смыслов

«Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы?...Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс?»

Ф. Ницше

«У народов всегда есть достаточно причин быть такими, какие они есть: и лучший из них тот, который не может быть другим»

А. де Кюстин

Безотносительно к тому или иному субъекту культуры/цивилизации, проблема его идентификации и самоидентификации может быть представлена как вопрос Сфинкса Эдипу. Вопреки устойчивому предрассудку, это не разные персонажи. Сфинкс это Эдип, озадаченный вопросом о *собственной* сущности. Между тем, по Фоме Аквинскому, «сущность всякой вещи есть то, что выражено в определении, которое содержит родовое, а не индивидуальное... сущность вещей не согласуется с существованием...» [История..., 1994, с. 262, 263]. К сущности «вещей» еще нужно пробиться через устойчивые стереотипы, или «идолов» (Ф. Бэкон), и надежный способ их «расколдовать» – преодоление одного из самых устойчивых «идолов» – фатального конфликта между существованием «во мнении» (идентификацией) и адекватным осознанием своей сущности (самоидентификацией).

У этой оппозиции есть онтологические и аксиологические основания, но в «природе вещей» заложены не только различия между ними, но и их взаимообусловленность. Классический прецедент соотношения между идентификацией и самоидентификацией преподан Гете: «Тот же, кто духом незыблем, тот собственный мир созидает» [Т. 5, с. 584]. Эту ясную позицию Зевс европейской поэзии разъяснил в размышлениях в связи с изданием во Франции собрания его трудов. Он писал, что «в новейшее время французы начинают в нас ценить именно то, что *мы сами считаем для себя наиболее ценным*... каждую нацию, равно как и значительные труды любого ее представителя, можно понять исходя *из них* и *от них*, и... судить о таковых можно, только считаясь с присущими им особенностями (курсив мой – И. Л.)» [Т. 10, с. 375–376].

Проблема в том, чтобы, не нарушая *меры* взаимодействия между Мы и Они, с одной стороны, не подменять в *релятивистском* духе самоидентификацию идентификацией в духе «что станет говорить княгиня Марья Алексевна?», а с другой – не преувеличивать своей самодостаточности, достигая *реальной субъектности* и, соответственно, *легитимации*. Всегда уместно прислушаться к нелицеприятному и во многом постигнутому России А. де Кюстину, который заметил, что, если русские «хотят присоединиться к европейским народам и быть с ними на равных, они должны научиться переносить суждения других о себе». Вместе с тем «у народов всегда есть достаточно причин быть такими, какие они есть: и лучший из них тот, кто не может быть другим» [1994, с. 98, 103–104].

Между тем, Россия в условиях «распада связи времен» 80–90 гг. прошлого столетия в историческом беспамятстве предала забвению максимуму Ф. Достоевского: «Только бы мы осамились, стали самими собой» [Т. 11, с. 137]. Но полезно не пренебрегать и тем, что, по А. Саха-

рову, обретение «самости» должно быть творческим ответом на вызовы единого и неделимого глобального мира. «Спасение страны, – писал он, – в ее *взаимодействии* со всем миром и невозможно без спасения всего человечества» [1990, с. 146]. Это проблема постижения и обновления трудной *меры* между национальными интересами и всечеловеческими ценностями, иными словами, *realpolitik* и *universalis*, хотя типичной является убежденность в фатальной оппозиции «интересы *contra* ценности», вплоть до конфликтов между народами – и не только с другими, но и с самими собой.

До сих пор «различные толкования» не отменяют поклонения такому расхожему «идолу», как *редукция* ценностей к интересам, или к «пользе». «Мы часто смешиваем два этих качества – «ценность» и «пользу», – и это приводит в тупик: разве вещь ценна не тем, что она полезна? Это, конечно, говорит рассудок... (он) упорно пытался и пытается аннексировать понятие ценности и отбросить все противящееся этой аннексии; зачислить «ценность» на службу «полезности», подчинить ей «ценность» или хотя бы представить «ценность» дополнением к «полезности» [Бауман, 2002, с. 207].

В равной мере ошибочны редукция ценностей к интересам «полезности», как и представления о том, что «трепетную лань» *universalis* нельзя запрячь вместе с «конем» *realpolitik*. Пашет все-таки не геополитический плуг, а социокультурный *пахарь с помощью плуга*. Если же геополитический «плуг» полагает себя самодостаточным, то он напоминает иронию Д. Дидро о «сумасшедшем фортепьяно», которое возомнило, что само творит музыку.

Интересы – направленные на определенные объекты и осознанные потребности. Со времени Аристотеля известно, что одной из фундаментальных потребностей людей является их единение в политике в интересах достижения общественного блага. Однако такое состояние в отрефлексированной форме описывается не в терминах потребностей и интересов к ним, а как *ахю* – ценность и *ахиос* – достойный. Ценность не существует ни как самодостаточная «вещь в себе», ни как творение «из ничего». Она всегда – их взаимосвязь.

Ценности – любые феномены (вещи и процессы, действия и поступки), которые *значимы* для человека в связи между их объективными свойствами и потенциальной, а в практической деятельности – реальной способностью удовлетворять потребности человека, служить реализации его интересов, достижению желаемых целей. Отсюда потребность «связывать ценность данного поступка, данного характера, данной личности с намерением, с целью, ради которой действуют, поступают и живут...» [Ницше, 1994, с. 310], или ее смыслом. Философ писал, что «смысла *нет* налицо», и «*влагать известный смысл*» – непреходящая задача. «Так дело обстоит... с судьбами народов: они допускают самые различные толкования для самых *различных целей*» [Там же, с. 285].

Символически интересы соотносятся с ценностями как *зерно и плод*. Зерно в потенции содержит в себе плод, и оно может этого не сознавать и даже позиционировать и бунтовать против плода. В зрелой – мудрой и ответственной – политике «полезность зачисляется на службу» ценностным приоритетам, которые определяют смыслы, направленность, структуру и динамику интересов. В конечном счете, между ними – отношения не конфронтации, а *инверсии*.

Однако «лицом к лицу – лица не увидеть. Большое видится на расстоянии». Высоко ценимый Ф. Ницше «пафос расстояния» и производная от него веберовская мудрость «глазомера» не приходят автоматически и нередко связаны с фундаментальными заблуждениями в поисках самоидентификации и идентификации. Во многом это ментальная дилемма *вовлеченности* или *отвлеченности* ценностных ориентаций и нередко – динамичной смены этих состояний.

В полной мере эта диалектика характерна и для России. Классическим прецедентом *вовлеченности* в ее судьбу является идущая от Радищева и Чаадаева, Леонтьева и Розанова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Ильина и Бердяева, Солженицына и Сахарова традиция служения великой Родине/Отечеству и вместе с тем – *по праву* сокровенной сопричастности к ее судьбе – заинтересованная и острая критическая рефлексия [Левяш, Русские..., 2007]. Н.

Гоголь писал: «Эх, тройка! птица-тройка! кто тебя выдумал?...». Ф. Достоевский усмотрел в знаменитом гоголевском образе двусмысленный символ: «Тройка у него изображает Россию. И летит, и сторонится в почтительном недоумении народы... И дивятся другие народы... Если в эту тройку впряжен Чичиков, Собакевич, Ноздрев.... то при каком хотите ямщике ни до чего хорошего не доедете. Не починить ли тройку? А для этого что – вникнуть и осмотреть...» [Т. 15, с. 351].

Во имя чего? Последователь русского Екклезиаста Р. Розанов начертал словно на скрижалях: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее... И еще ужаснее любить все это. Стонаю и люблю». Наконец, в апогее этой потрясающей сакральной исповеди: «До какого предела мы должны любить Россию... до истязания; до истязания, до *истязания* самой души своей... любовь к родине чревна» [1970, с. 104, 129, 494, 562–563].

Напротив, ментальный источник позиции «отвлеченных» – в бессознательной инволюции, казалось бы, тех, кто изначально вовлечен в судьбу России, но более сострадательно, чем деятельно, и жалуется, что ей «не дают» войти в цивилизованную ойкумену глобального мира. Вот типичный текст: «Опасность ситуации в том, что, не пуская Россию в современную западную цивилизацию, ее переправляют транзитом из *формационно-классовой*, двухмиросистемной, в *геополитическую* систему координат, где главенствует идея противостояния интересов» [Громов, 1998]. Оказывается, не Россия «переправляется», а ее «переправляют». В духе вторичной «объектности» звучит

и утверждение о том, что идет «непрерывный поиск формулы *адаптации* отечества к меняющимся мировым условиям» [Цыганков, 2005, с. 384]. Адаптация – норма для любого субъекта, но как самодостаточная, она есть определение через идентификацию Другим, или заведомо *объектная* роль.

С другой стороны, особенность «смутных времен» в том, что присущее им состояние бифуркации вызывает не только имплозию (взрыв вовнутрь) утраты самоидентичности, но и, напротив, тяготеет к «выпрямлению спирали», или взрыву вовне, по Ф. Достоевскому, к той «неограниченной свободе», которая, влечет к «неограниченному деспотизму». В. Гавел говорил: «Еще долгие десятилетия мир будет приходить в состояние равновесия. Взрыв национализма, популизма, терроризма, конституционных кризисов и т. п. – все это имеет связь со всеобщим шоком общества – *шоком свободы*. Теперь взорвалось все, что накопила история...» [Известия, 7.08.1993].

Такой, по-своему уникальный, тектонический взрыв вынес на поверхность проблему еще не известной ранее России как *системной* – глобальной, трансрегиональной и этнонациональной геополитической и культурно-цивилизационной реальности, далеко не сводимой к традиционному формационно-классовому измерению.

Глобальной – потому что масштабы России, ее положение в центре геополитического хартленда, трудовые и энергетические ресурсы, ядерный потенциал, сложный симбиоз общепризнанного в мире духовного богатства и инерции советско-коммунистического наследия, – все это не оставляет сомнений, что вне российского фактора стабильные международные отношения просто немыслимы.

Трансрегиональной – в силу той амбивалентной «любви-ненависти» (Фрейд), которая довлеет над Россией как географически евразийской державой, но в историческом и культурно-цивилизационном измерениях, вопреки сомнениям Р. Киплинга, не как «самого западного из восточных государств», а «самого восточного из западных». Это обуславливает проблематичность и тем не менее жизненность идеи «единой Европы» как *триединой* – Западной, Центральной и Восточной.

Этнонациональной – потому что топос современной России, простиравшейся в Европе и Азии, со многими часовыми поясами, параллелями и меридианами, с отчетливой интенцией к возрождению великого государства в пространстве взаимодействия уже традиционных (США) и новых растущих геополитических центров – ЕС и АТЭС, поиском путей и средств реинтеграции постсоветского пространства, драмой регионализации в пределах Российской Федерации, – все это во многом симбиоз культурно-цивилизационных, геополитических и геоэкономических противоречий.

В чем уникальный характер исхода из этих противоречий? Многомерность проблемы и поиск ее решения – во многом «воспоминание о будущем» и изначально вызывает к *архетипам* судьбоносного выбора России. Они формировались и эволюционизировали по формуле А. Тойнби «Вызов-и-Ответ». Ее контекст в том, что «Вызовы-и-Ответы» не сводимы к внешнему взаимодействию, и «по мере развертывания процесса наблюдается тенденция к смещению действия из области внешнего окружения... в область внутреннюю. Иными словами, критерий роста – это прогрессивное движение в направлении самоопределения» [Тойнби, Постигание..., 2003, с. 258]. Вызов истории это категорический императив выживания и свободного развития цивилизации и ее ядра – культуры, но Ответ, в конечном счете, зависит от того, какова степень «внутреннего творческого импульса» принявших вызов народов [Там же, с. 114]. Их реальная субъектность означает динамичную способность к адекватным ответам. Но эти действия могут быть неадекватными, и тогда народы становятся статичными объектами, в терминологии А. Платонова – «дубьектами», и теперь уже «народ жить может, но ему нельзя».

Ответы России на вызовы исторического времени всегда в решающей мере зависели от степени ее субъектности, реальной способности к внутренней динамике и в меру этого – реакции на внешние вызовы. В таком ракурсе ведущие отечественные архетипы представляют собой далеко не линейную драму взаимодействия и последовательной смены смыслообразующих символов.

Первым стал эзотерический и статичный, вне исторического времени, образ затаившейся от монгольско-тевтонских лихолетий «святой Руси». Но в итоге собирания и упрочения России, поднятой на дыбы Петровской трансформацией, гоголевский гений создал символ России как «птицы-тройки». В 20–30 гг. XX в. вновь возник образ пассионарной России. Она, по Е. Замятину, – ледокол, «такая же специфически русская вещь, как и самовар... всюду моря свободны, только в России они закованы льдом... – и чтобы не быть отрезанным от мира, приходится разбивать эти оковы. Россия движется вперед странным, трудным путем, не похожим на движение других стран... она взбирается вверх – и сейчас же проваливается вниз... она движется, разрушая» [1989, с. 28]. Под занавес прошлого века «ледокол» постигла судьба, аналогичная «Титанику», а циклопические масштабы катастрофы и глубина «провалов» страны не оставили места эзотерике. Святая Русь «всплыла» и нередко маркируется как «остров Россия» (В. Цимбурский).

Обратим внимание на разрывы между смысловыми приметами этих символов. Образы прикровенной Руси и зримого «острова» – из статичного *ретро* (Московского царства или ближе – СССР за «железным занавесом»). Однако динамичная «тройка» – это уже, казалось бы, ясный *футуро*-образ. Она «несется», однако ее интенция – не ведая куда и не зная ни откуда, ни как, ни кто, собственно говоря, «ямщик».

О чем свидетельствует этот противоречивый символический ряд? Россия всегда более устремлена либо в свое *прошлое*, либо в *будущее*, умаляя первостепенность, более того – *самоценность настоящего*. В терминах Тойнби, архаизм и футуризм – в равной мере утопия, идеализация былого или чаемого, но неизменно – недооценка библейского «здесь и сейчас». Не говоря уже о символах «птицы-тройки» и «острова» (они не технологичны, и с ними просто невозможно работать), маршрут «ледокола» оказался ситуационным, а не эпохальным. Этот

символ – ретро последнего поколения: ныне Россия определяет свой национально-государственный маршрут, маневрируя среди *глобальных* айсбергов.

Современный российский маршрут своеобразен не только «подъемами» и «провалами», но и тем, что он на порядок сложнее линейно понятой формулы «Вызов-и-Ответ» и во многом определяется проблемным характером реальной субъектности России. Смысловой эпицентр дискурса – в прояснении дилеммы «глобализация или геополитизация» относительно мира вообще и России – в особенности. Изначально Россия не признала в идее и тем более практике глобализации «свое-иное»: Как отмечала В. Федотова, «с левых позиций... отношение к глобализации в России сегодня похоже на прежнее отношение к капитализму... Глобализация вообще не стала темой серьезного размышления правящих кругов ни в качестве угрозы (как ее воспринимают старые «левые»), ни в качестве вызова (как к ней должна была бы отнестись правящая элита)» [2002, с. 59, 60].

Глобализация еще во многом рассматривается как вселенский апокалипсис. Риторически звучат уже названия работ известных авторов: «Антропологическая катастрофа» (П. Гуревич), «Конец цивилизации, или конфликт истории» (А. Неклесса) Но, оказывается, это не только «левая» ориентация. На заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) в 2001 г. в основном докладе не нашла поддержки предложенная формулировка глобализации как объективного процесса. По оценке В. Третьякова, доклад был «изначально пессимистичен», и его следовало бы назвать не «Россия в условиях глобализации», а «Конец России в процессе глобализации» [НГ, 6.03.2001].

Дискуссии о глобализации в российской оптике скрывают базовую коллизию: текстуально мы говорим о глобализации, а «между строк» подразумеваем геополитику. Но почему? Россия, отмечал Л. Ионин, вступила в XXI век далеко не фаворитом. Поэтому «российские и американские элиты смотрят... в разных направлениях: американцы в XXI век (ключевое слово «глобализация»), а россияне – в XX (ключевое слово «геополитика»)... речь идет о столкновении, с одной стороны, партикуляристской геополитической идеологии..., и – с другой – универсального глобалистского проекта» [1998, с. 34].

Однако М. Чешков уместно подчеркивает, что болезненный характер восприятия глобализации не сводим к ее противопоставлению геополитике. Глобализация «несет вызов цивилизационному сознанию, грозя ему нивелировкой и хаосом». В таком контексте возникает потребность в смысловом и структурном углублении идеи «снять противоречие глобальности и цивилизованности, столь характерное для российского общественного сознания, возможно, углубляя научно-познавательный смысл идеи глобальности» [Актуальные..., 1999, с. 44].

В этом русле есть смысл напомнить предложенную в части I авторскую интерпретацию идеи глобальности, начиная с критики иллюзии отождествления *общечеловеческих* (мировых) и *глобальных* проблем. Парадокс в том, что все глобальные проблемы – общечеловеческие, но далеко не все из них – глобальные. Всегда были, есть и будут общечеловеческие проблемы, которые могут быть решены на индивидуальном, групповом, страновом уровнях.

Реалии глобализации одновременно создают и беспрецедентные трудности, и объективные предпосылки решения дилеммы культуротворческого «единосущего» или только цивилизационной «одинаковости» [Розанов,

1992, с. 143]. Глобализация это становление единой и взаимосвязанной, в терминах Тойнби, «Цивилизации с большой буквы» на основе гомогенизации материальных производительных сил, социально-политических структур (предметно об этом – в IX части монографии). Глобализация культур – напротив, процесс адаптации общецивилизационных достижений к культуротворчеству, выработка творческой способности национальных культур к «амостоянию» и вместе с тем – к их «цветущей сложности» в контексте всечеловеческих ценностей и смыслов.

«Думать о деле» глобализации значит прежде всего упрочить универалистские опоры и творчески-преобразующий потенциал культуры. В конечном счете, креативная способность ответить на вызов глобализации зависит от становления неизвестного ранее способа реализации завещания «осевого времени» – цивилизационного единства в конструктивном культурном многообразии.

В таком ракурсе новое дыхание обретает замечательная мысль В. Соловьева: «Для показания своей национальной самобытности на деле нужно думать о самом этом деле, нужно стараться решить его самым лучшим, а никак не самым национальным образом. Если национальность хороша, то самое лучшее решение выйдет и самым национальным, а если она не хороша, так черт с нею» [Т. 1, 1989, с. 7].

1.2. От наследия к Современности

*«Да не поклонимся словам! // Русь – прадедам, Россия – нам...
Перестаньте справлять поминки // по Эдему, в котором вас // не было»
М. Цветаева*

*«Офицеры-декабристы заставляли солдат кричать: «Да здравствует Конституция!», а когда те спрашивали, кто она такая, отвечали, что это супруга великого князя Константина»
Литературная газета, 6–12.02.2008*

Как и повсюду в мире, для России различение понятий «идентификация» и «самоидентификация» имеет принципиальный характер. С одной стороны, что есть Россия и чем она может стать, как она воспринимает *себя* в мире, и, в свою очередь, мир *ее*, – взаимосвязанные, но разные вопросы.

Квинтэссенция этих вопросов сегодня выражается в кардинальных альтернативах: является ли Россия великой мировой державой? великой региональной державой? вообще державой? Амплитуда суждений и оценок настолько безбрежна, что, отвлекаясь от ментально или профессионально русофобских, позволяет воспроизвести лишь самые характерные позиции. Кричащий штрих на этом фоне – нередкая апелляция к определению Николаем I традиционной России как «больного человека» [Тойнби, Цивилизация..., 2003, с. 501]. Такова позиция «отвлеченных», для которых *наша* страна была и остается *этой* страной. С точки зрения И. Бродского, этот «человек» не просто болен, а еще ранее «приказал долго жить». Духовный исход из России и разрыв с ней он воспринял не как *личную* драму, а конец самой России. В беседе с А. Михником Бродский вопрошал: «Что будет с Россией? Как сложится ее судьба? Какова ее роль? Для меня все это кончилось на Чаадаеве и его определении России как провала в истории человечества... Я думаю, что Россия кончилась как великая держава» [Иосиф..., 1996].

Внешне все выглядит именно так. По словам польского историка Зб. Гужейла, «если прежде СССР соперничал с США и НАТО вблизи Гамбурга и Стамбула – благодаря дружественным Москве ГДР и Болгарии, а в «сталинский» период – и вблизи Италии и в Средиземноморье – благодаря «сталинистской» Албании, где была крупная советская военная база, то теперь линия такого соперничества приближена к Пскову, Смоленску, Белгороду, Ростову-на-Дону, Сочи, Астрахани и Махачкале. То есть перенесена вглубь когда-то советской территории» [Цит. по: ЛГ, 6–12.02.2008]. Действительно, нынешние границы России почти совпадают с ее границами во время правления царя Алексея Михайловича и, стоит заметить, до Переяславской рады 1654 года.

«Российская Атлантида» – предложенный В. Цимбурским образ такого конца. Интересно, что она – не просто страна, а именно *империя*, «которую мы потеряли». Россия лишена

признанного метаисторического идеала, который мотивировал бы ее существование. Тем не менее, Цимбурский, в отличие от «нигилизма слабости» Бродского, полагает, что ее имперский «ритм» пока жив и способен подсказывать направление интересов [Цимбурский, 1999, 2000].

Вообще характерна взаимосвязь: именно те, кто убежден, что «умом Россию не понять», склонны верить в ее фатум как *имперского* Феникса. Следует разделить надежду А. Зиновьева «подняться на уровень одной из ведущих стран планеты, о чем мы мечтаем». Иной была его претензия «составить... серьезную конкуренцию в битве за мировое господство» [Цит. по: ЛГ – Действующие лица, вып. 1, 2003]. Фантазмы «снов разума» отечественных прожектеров беспредельны и допускают, что «в нашей судьбе заложен и космогонический смысл... проявилась астральная, космогоническая судьба России» [Цит. по: ЛГ, 5.11.2003]. Адепты такой веры разъясняют ее *вселенское* назначение: «Россия не Евразия и не слепок Европы... Россия – это опорная колонна земного шара, это материк особенного свойства, и это вечно живой кит, на котором покоится в пучине бездны мать сыра земля» [Цит. по: Наш..., 2007, с. 255]. Такие мифологемы не нуждаются в коммуникациях с другими смысловыми оценками, подобно известной максиме Тертуллиана: «Credo, quia absurdum est» (лат. – «Верую, ибо абсурд»).

В эпицентре же работоспособного смыслового дискурса – действительно *проблемная ситуация* в России и вокруг нее, начиная с анализа и оценки наследия, с которым Россия связана непосредственно. В таком ракурсе немецкий исследователь К. Зегберг подчеркивает первостепенность вопроса о «взаимосвязи между глобализацией, советским наследием и происходящими переменами...» [1999]. Исходная точка этой взаимосвязи – отмеченная И. Валлерстайном *объективная роль*, которую Советский Союз играл в миросистеме. «СССР всегда стремился к полной интеграции в межгосударственную систему. В 1933 году он вступил в Лигу Наций..., выступал союзником Запада во Второй мировой войне, стал соучредителем ООН и никогда в послевоенные годы не прекращал добиваться от всех стран (и прежде всего от США) признания себя как одной из мировых «сверхдержав». Эти усилия, как неоднократно отмечал Шарль де Голль, трудно объяснить с позиций марксистско-ленинской идеологии, но они абсолютно ожидаемы как политика великой военной державы, действующей в рамках существующей миросистемы» [Валлерстайн, 2003, с. 21–22].

В конце XX в., по оценке В. Путина, произошла «крупнейшая геополитическая катастрофа» – крушение и распад СССР как великой мировой державы. Некоторые российские политологи и геополитики до сих пор ставят кардинальный вопрос: «Как могло столь быстро свершиться такое глубокое падение?». По их мнению, ответ заключается в неудаче свойственного советскому обществу глобального проекта. И все же «ни о какой победе Запада над Востоком в самой этой («холодной») войне говорить нет оснований» [Ионин, 2000]. На наш взгляд, такие основания все же есть, как, строго говоря, нет оснований утверждать о глобальном характере коммунистического проекта.

В России коммунизм был одной из ипостасей индустриального общества, *незападным* типом его строительства и модернизации. Тем не менее, пережив период «бури и натиска», проект быстротечно мутировал. Таков рок жесткой конструкции и имперской «сверхзадачи» Системы [Левяш, 1997], которая пренебрегла Вызовом не темпорально, а *сущностно* понятой Современности. Известный авторитет в области политической философии Ш. Эйзенштадт отмечал, что воплощение в Советском Союзе «культурной и политической программы современности» вызвало «сильнейшие и непрерывные трения и противоречия. В первую очередь, речь идет о противоречии между акцентом на автономии человека и мощным, жестким контролем, истоки которого кроются в технократических и/или этически-утопических положениях этой программы...» [2002, с. 71].

Оценивая специфические причины обвала СССР, В. Путин усмотрел их прежде всего «в экономике советского типа». Главный ее порок – идеократический характер. Россия 70 лет шла «по тупиковому маршруту движения». За этот «эксперимент» заплачена «огромная

цена». В общемировом контексте страна оказалась неконкурентоспособной: «Власть Советов не сделала страну процветающей, общество – динамично развивающимся, человека – свободным» [Путин, 1999].

Иными словами, советская модернизация была относительно успешной в до-глобальную эпоху и утратившей эффективность – с ее наступлением. Коммунистический проект, по замыслу являясь *мировым*, никогда не был *глобальным*. В нем царили: охранительная идеократия против меритократии, технологический консерватизм против вызовов технотронных революций, «островная» автаркия против открытого общества. Империя напоминала странную птицу немецкого художника П. Клея – устремленную вперед, но с повернутой назад головой. Исторически назревший прорыв к *интенсификации* развития подменялся традиционно *экстенсивным* ростом, стремлением не к решению инновационных проблем взаимосвязанного мира, а к неизбежной «нулевой сумме» (памятное заявление Н. Хрущева с трибуны ООН: «Мы вас закопаем»).

Объективности ради, кремлевские «копатели» были не одиноки. До сих пор серьезно не обсуждается проблема альтернативного прогнозирования, поднятая в работах С. Коэна: как сложилась бы трансформация России, если бы Запад решительно поддержал не компрадорские, а подлинно реформаторские силы в России? К сожалению, возобладали – на языке формальной логики «или – или», в эквиваленте классической геополитики – «нулевая сумма», и из ее же арсенала – «закон своего сукина сына». Такова, по аналогии, циничная природа мюнхенского предательства Чехословакии великими державами Запада (им казалось, что пожар – не на их крыше). Затем – пусть они побольше убивают друга, мы же поможем слабому – «равновесия ради». Европу, породившую нацистского монстра, поднимали на костылях «плана Маршалла», а Россию, не только сыгравшую ключевую роль в разгроме нацизма, но и отрекшуюся от тоталитаризма в 90-х гг., «опускали» и пытались расчленить методами «шоковой терапии».

Далеко идущие прожекты витали в «шахматном» воображении не только Бжезинского. Известно, что директор Французского Института в Москве, «левый интеллектual» М. Хальтер заявил в 1989 г.: «Если мы хотим помочь Советскому Союзу, его надо колонизовать». Тогда мало кто заметил, что известный французский писатель Р. Перро обратился к президенту Ф. Миттерану с письмом «Надо ли колонизовать Советский Союз, чтобы ему помочь?». Этот вопрос был без труда переадресован постсоветской России, и перед ней, утратившей пассионарность, разверзлась бездна «распада связи времен», исторического небытия.

По России, «которую мы потеряли», одни плачут, иные смеются, но прежде всего важно понять, что став «больным человеком», страна, говоря словами В. Путина, не рассматривает себя, как «инвалида», и ее выздоровление требует прежде всего освобождения от недооценки *проблематичного* характера возрождения России. Политическая элита России разделяет эту озабоченность. Президент Геополитической академии, генерал Л. Ивашов отмечает: «Мы утрачиваем сознание того, что Российская Федерация обладает: объективными параметрами великой державы, имея обширную территорию с богатейшими природными ресурсами; населением с высоким интеллектом; геополитическими традициями державности и особыми цивилизационными ресурсами; опытом социалистического проекта, альтернативного либерально-рыночному проекту; эксклюзивными знаниями по проектированию сверхсложных систем, основами фундаментальной науки; стратегическим военным потенциалом» [Геополитика..., 2006, с. 56].

Проблема в том, как *распорядиться* этим совокупным и уникальным потенциалом. Отмеченные очевидные преимущества не отменяют отставания страны по такому критическому культурно-цивилизационному параметру, как динамичный переход к обществу, основанному на приоритете *человеческого капитала* [Левяш, Человеческий..., 2004]. В докладе Всемирного банка (2003) констатировалось, что «темпы долгосрочного роста экономики в странах ОЭСР зависят от поддержания и расширения базы знаний... Процесс глобализации

ускоряет эти тенденции... Сравнительные преимущества стран все меньше и меньше определяются богатством природных ресурсов или дешевой рабочей силой и все больше – техническими инновациями и конкурентным применением знаний... Экономический рост сегодня является в такой же мере процессом накопления знаний, как и процессом накопления капитала» [Цит. по: Формирование..., 2003, с. 7–8]. И далее – предметно: «Исходя из опыта индустриальных стран, учитывающих вклад образования в обеспечение экономического роста и социального единства страны, общий уровень инвестиций страны в образование должен составлять от 4 до 6 % внутреннего валового продукта (ВВП). При этом расходы на высшую школу, как правило, составляют от 15 до 20 % всех расходов в государственное образование» [Там же, с. 23].

В России, казалось бы, на этой «Шипке все спокойно», и внешне ситуация не только близка к уровню развитых стран, но и по некоторым показателям Россия не только не уступает, но и превосходит многие экономические развитые страны. Уровень грамотности населения составляет 99,5 %, численность студентов вузов на 10.000 населения – 327. В настоящее время высшее образование в России характеризуется резким увеличением численности выпускников вузов. По сравнению с 1995 г. их количество увеличилось в 2,7 раза. Начиная с 1995 г., прирост численности студентов ежегодно составлял 7–15 %, опережая демографические показатели. По такой статье расходов, как бюджетное финансирование образования – менее 70 %, страна значительно опережает США (50 %), но несколько отстает от Германии, Франции и Великобритании (80 %). Три ведущие страны в области образования имеют бюджетное финансирование выше 80 %. В России бюджетное финансирование вузов ниже 70 %. США являются единственной из стран с развитым образованием, где уровень бюджетного финансирования ниже 50 % [Миронов, 2007, с. 14–15].

Однако такая статистика удобна российской бюрократии, но за ней скрывается традиционная для России ставка на экстенсивный рост и «быстрые деньги». Тотальная «образованщина» (Солженицын) находится в таком же соотношении с формированием и оптимальным использованием человеческого капитала, в каком и СССР, в котором, как известно, инженеров выпускали вчетверо больше, чем в США.

Как отмечал Ф. Фукуяма, «ирония развития состоит в том, что межгосударственная конкуренция в будущем будет определяться характером обществ... И для всех стран во главу угла будет поставлен вопрос, кто может наиболее эффективно развить и использовать «человеческий капитал». В ходе этого соревнования, которое может рассматриваться как сублимация нынешних войн, изменится понимание многих вещей, в том числе и то, что в прошлом называлось «войной» [1995]. Перед нами не сублимации «нынешних войн», а их подлинная сущность. Ныне для экономической «аристократии» вести классические войны рискованно, а разрушать производственную и социальную инфраструктуру непродуктивно. В таком раскладе факторов апелляция к примату культуры, «человеческому капиталу» имеет не только ценностный, но и *функционально-стратегический* характер.

В условиях бурной военно-технологической революции нет автоматизма и в бесспорных, на первый взгляд, геополитических и тем более геэкономических преимуществах России. Традиционная неуязвимость необъятных российских просторов, которая была весомым фактором избавления от Наполеона и Гитлера, теперь в решающей мере зависит от технотронных средств нейтрализации систем управления и высокоточного оружия, способного нанести неприемлемый ущерб стране любого масштаба. И формула: «Россия – глобальная нефтяная держава» – претенциозна, но главное – уже из стратегии вчерашнего дня.

Эпицентр глобального соперничества – не здесь, и стоит напомнить недооцененного организатора «народно-монархического» движения И. Солоневича: «История России есть «история преодоления географии». Или иначе: наша история есть история того, как дух покоряет материю, а история США есть история того, как материя покоряет дух... Если диамет-

рально противоположные геополитические предпосылки создали два разных, но все-таки сильнейших государства последнего столетия, то совершенно ясно, что решение вопроса лежит не в геополитике, а в психологии, то есть не в материи, а в духе» [1991, с. 69, 76].

В. Розанов провидел «реформу, нам предстоящую: *ожить древним духом* – тем прекрасным духом, прототип которого дала нам еще Киевская Русь. Возможно сделать это при сохранении всей той крепости сил, какую сумела создать Москва, и не отказываясь нисколько от правильных сторон просвещения, которое любить завещал Великий Петр. Все это можно соединить; все – слить в новую гармонию, чрез живой акт души» [1992, с. 60]. Однако, с горечью резюмировал он уже в 1918 г., «в сущности, мы знаем *слова* о Возрождении, а не видим *Возрождение* в нас (в самих нас) именно бурь Возрождения, а в *бурях-то* *Возрождения* конечно и лежит вся тайна его» [1970, с. 556]. Россия, как девушка, которая «цветет, а завязаться плоду не дают» [1970, с. 263]. Взамен завязался совсем другой «плод», и полностью оправдался прогноз Н. Бердяева о том, что настоящая буржуазность в России возможна только после коммунизма [Бердяев, Истоки..., 1990, с. 119–120].

Драма современной российской государственности, единодушно отмечают эксперты, в том, что в мире глобальных вызовов она пока не смогла перейти от задач экстенсивного *выживания* к «завязыванию плода» интенсивного *развития* как императива Современности – последней «волны» модернизации.

Уникальная для России возможность выживания и развития в условиях глобализации – ее потенциал, природно-ресурсный и человеческий, которому еще предстоит стать *двуединым*. Известно, что такой обобщающий индикатор, как ВВП, это не столько «честное зеркало» благополучия страны, сколько престижа и рейтинга ее правящих элит. А. Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, убедительно, опираясь на системные экономические выкладки, пишет об этом в статье «Не там копаем» [ЛГ, 9–15.02.2011]. Установка на гонку за пресловутым ВВП любой ценой, вплоть до манипуляций со статистикой, скорее дезориентирует, и уместен вопрос А. Пушкова: «Вы не считаете, что конкурентоспособность – это ложный идол? Вы спросите, где многие наши граждане предпочли бы жить: в либеральных США или же в Германии, где действительно создано социальное государство при капитализме?... большая часть предпочтет Германию, которая всего лишь на 25-м месте по конкурентоспособности. Этот фетиш важен прежде всего для элиты... Да, конкурентоспособность важна и для активной части общества, но это не значит, что ей в жертву должно приноситься абсолютно все» [ЛГ, 11–17.06.2008].

Кто же направит возрождение России в деятельное русло, вновь «зажжет» ее великим и привлекательным проектом и организационно – технологически обеспечит его реализацию в условиях *динамичного развития, сориентированного на социальную сверхзадачу*? В какой общественно-политической парадигме ныне осуществляется этот процесс? Известные «идентификаторы» России, которые претендуют на роль главных источников ее легитимации в мире, дружно предлагают ей ту же дилемму, в которой, как в безысходном лабиринте, запутался поздний СССР – выбор *между демократией и авторитаризмом*.

Этот урок заслуживает внимания. Позднему Советскому Союзу, представленному его первым и последним президентом М. Горбачевым – официальным лидером так называемой *перестройки*, помочь было невозможно. И глубинная причина – не в известном плачевном состоянии экономики. Все это – производные от того конкретно-исторического *состояния идеократической беспомощности*, которая была характерна для перестройки. Профессор политологии Оксфордского университета А. Браун в статье с исчерпывающим названием «Горбачев, Ленин и разрыв с ленинизмом», пишет, что, начиная с 1990 г., президент СССР «проводил четкое различие между режимами тоталитарными и авторитарными, с одной стороны, и плюралистическими и демократическими – с другой. Однако нюансы разграничения тоталитаризма и авторитаризма его не слишком заботили» [2007, с. 71].

Перестройка замышлялась как второе издание *авторитарно-демократической* стратегии ленинского НЭПа, по определению ее творца – «надолго и всерьез». Такая стратегия в короткий срок уже дала впечатляющие результаты (и ее плодотворность во многом подтверждается современным Китаем). Это была перспектива *нормального* строительства социализма как синтеза широкой демократии (от экономической до внутрипартийной) с авторитаризмом «командных высот» руководства и управления. Но это были «преждевременные мысли». Страна, и прежде всего партия, оказались не готовыми к такому синтезу, и на смену НЭПу пришел сталинский тоталитарный режим, эффективный в экстремальных ситуациях, но быстротечный и тупиковый в исторической перспективе [Левяш, 1989, 1996, 2004, гл. 12].

Задача перестройки заключалась в том, чтобы, окончательно преодолев наследие тоталитаризма (этот процесс начался уже после смерти диктатора), вновь реализовать отложенный ленинский синтез в контексте реалий конца XX в. Но дилетантская горбачевская оппозиция авторитаризма и демократии предопределила *действительный разрыв* с ленинизмом. Условно с этого момента перестройка стала мутировать, по меткому присловью А. Зиновьева, в «катастрофику», политическая инициатива была перехвачена так называемыми «либерально-демократическими» силами, и столь же властолюбивый, сколь дремучий Б. Ельцин стал их терминатором и могильщиком СССР.

Теоретический уровень нуворишей, приступивших к «великому переделу» собственности и власти, исчерпывающе выразил недавний олигарх № 1, а ныне «частное лицо, гражданин Российской Федерации, ИЗ № 99/1» М. Ходорковский в своем письме: «Мы ждали демократии как чуда, которое само собой, безо всякого человеческого участия и усилия, решит все наши проблемы на десятилетия вперед» [Цит. по: НГ, 5.08.2005]. Но следовало ли снова наступать на смертельно опасные грабли? А. Солженицын противопоставлял различное, выстраданное личной судьбой, отношение «волкодава» и «людоеда» к демократии. Людоед – по определению воплощение тоталитаризма, в отличие от авторитаризма, который, оказывается, не волк и, разумеется, не овца, а волкодав – страж «овечьего стада», символ хрестоматийно известного *autoritas*, или, по латыни, власти. «Страшны, – подчеркивал мыслитель, – не авторитарные режимы, а режимы, не отвечающие ни перед кем и ни перед чем».

Принципиальное *различение* нашего мудреца было основано на глубоком политико-философском фундаменте. Конструктивный исход подсказывала вся политическая логика Современности и все ее столпы, не лишённые критической рефлексии, начиная с программного вопроса Гете: «Могущество, когда, когда // Соединишь ты с властью разум?».

Опыт XX – начала XXI вв. показывает, что как функционирование стабильных демократий немислимо без усиления роли государства, так и демонтаж тоталитарных режимов и переход к «открытому обществу» невозможен без авторитаризма «управляемой демократии». Весь вопрос в ее *векторе*. «Использование термина «авторитарный», – писал Э. Фромм, – с необходимостью требует прояснить понятие авторитета. С этим понятием связана огромная путаница, поскольку широко распространено мнение, будто мы стоим перед альтернативой: диктаторский, иррациональный авторитет или вообще никакого авторитета. Но эта альтернатива ошибочна. Реальная проблема в том, какой вид авторитета следует нам признать... Рациональный авторитет имеет своим источником компетентность... Источником же иррационального авторитета, напротив, всегда служит власть над людьми» [1992, с. 17].

По А. Шлезингеру, «тоталитарный режим в своем стремлении овладеть человеческой душой уничтожает все автономные институты, тогда как авторитарный режим, будучи деспотическим по характеру, но ограниченным в плане размаха, оставляет душу в покое, проявляя терпимость к институтам, предоставляющим индивидам некоторое укрытие от государства... «плюрализм» – наличие автономных институтов – является свидетельством авторитарности» [1992, с. 153, 154].

Модель авторитарной демократии не имеет постоянной прописки, и, вопреки заблуждениям и фальсификациям, имеет давнюю и прочную прописку на американской почве. А. Шлезингер не оставлял камня на камне от идеологии США, как либерально-демократической классики, и воссоздал впечатляющую историческую панораму их традиционно авторитарно-демократической политики. Изначально, писал он, в американских колониях Британской империи государственное вмешательство в экономику считалось обычной практикой. В XVII в. оно было необходимо для выживания общества с ограниченными ресурсами. Но когда американская революция победила, она сама утвердила государственное регулирование. В итоге: «Сильное, деятельное правительство никогда не вырождается в диктатуру. Диктатура везде приходит на смену слабой и беспомощной власти» [Там же, с. 357].

Такой вывод дорогого стоит, и он впечатляюще подтверждается политической практикой США в XX столетии. Невозможно согласиться с иронией по поводу того, что Ф. Рузвельт «аж четыре раза избирался президентом» [ЛГ, 27.04.-5.05.2005]. Действительно, Америка готова была 16 лет видеть в нем своего президента. В критический момент он заявил сенату и конгрессу, что в случае надобности в дальнейших ассигнованиях может обойтись без этих парламентских институтов и обратиться к плебисцитарной демократии – непосредственно к народу [Цит. по: Солоневич, 1991, с. 39]. «Новый курс» Ф. Рузвельта имел ярко выраженный авторитарно-демократический характер. Но сводится ли дело к личности Рузвельта? По оценке знатока политической философии Дж. Грэя, гражданское общество в принципе «не нуждается в политических и экономических институтах либеральной демократии», и в различных вариантах оно вполне совместимо с авторитаризмом [Gray, 1996, с. 325].

США изначально были и по преимуществу остаются *авторитарно-демократическим* государством, как правило, не посягающим на либеральный индивидуализм гражданского общества. В отличие от них, Западная Европа успела пройти исторически краткий, но все же либеральный «курс» в духе лютеровского «Каждый сам себе священник». Тем не менее авторитарная демократия (не говоря уже о тоталитарной якобинской диктатуре) никогда не была здесь призраком. Даже вольнолюбивый Вольтер, готовый отдать жизнь за право оппонента высказывать свои мысли, в письме к Сан-Ламберту в 1771 г. заметил, что считает «лучшим подчиняться доброму льву, который намного сильнее меня, чем двум сотням крыс моего вида».

С тех пор западноевропейский синтез авторитаризма и демократии постоянно доказывал свою экономическую и политическую эффективность. Наполеоновский проект паневропейской империи «на острие штыка» закономерно потерпел крах. Но это не отменяет плодотворности Гражданского кодекса Наполеона, и его творец с законной гордостью писал: «Я закладываю во французскую землю гранитные блоки, которые являются институтами» [Цит. по: МЭиМО, 1998, № 2, с. 153]. Известно, что император не любил прессу (вообще «идеологов»), но при нем она была гораздо свободнее, чем во времена Директории. Совмещая образы и оценки Вольтера и Маркса, уместно заметить, что Наполеон I – высокая трагедия «льва», а его племянник Наполеон III – всего лишь фарс амбициозной «крысы».

Писать об авторитарном голлизме, как точке опоры, которая подняла Францию с колен, вернула ей статус великой демократической державы, значит ломить в открытую дверь. Тем не менее, по словам английского исследователя Дж. Пиндера, де Голль «ограничил исполнительную власть, которая более не вызвала уважения, и предпочел руководить с помощью референдумов, стараясь уничтожить всех посредников между собой и народом» [Pinder, 1963, с. 32–33]. Интереснее заметить, что, если бы де Голль был диктатором, для его ухода понадобились бы переворот или смерть. Но он, однажды не поддержанный большинством нации, ушел «по-английски».

Таковы классические ипостаси *просвещенного*, или *конструктивного* авторитаризма. Их можно без труда умножить, апеллируя, например, к политической практике Германии. Известно, что прусский король Фридрих I гнал за своими подданными по берлинским ули-

цам, колотил их палкой и кричал: «Отчего вы не любите меня, паршивые псы!». Тем не менее, он был Великим реформатором. Еще в большей мере это относится к Бисмарку. До сих пор он импонирует геополитикам школы «политического реализма» афоризмом: «Великие вопросы истории решаются кровью и железом». А в историю он вошел как великий мастер объединения Германии. Можно, наконец, с уверенностью сказать, что, если бы Веймарская республика в Германии была не либерально, а *авторитарно-демократической*, как рекомендовал М. Вебер, шансы Гитлера на власть были бы ничтожны.

У читателя может сложиться мнение, что автор охотно обсуждает проблему не просто комплементарности, а *синтеза* демократии и авторитаризма «за бугром», но хранит молчанье в важном споре на эту тему в родных пенатах. На самом деле замысел с точностью до наоборот – опираясь на мировой опыт, обратиться к отечественному измерению этой проблемы [Левяш, 2000, 2001, 2006] на ее *постперестроечном* этапе.

Ельцинский режим был маргинальным «созвездием маневров и мазурки». Оно оказалось одновременно и помпезно полуцарским, и порой неоправданно жестким, и формально-демократическим, но, в конце концов – анархическим. Интересен в этой связи комплимент В. Гавела: «Петр Великий управлял страной железной рукой, проводя при этом многочисленные реформы» [Цит. по: НГ, 26.03.1996]. Аналогичную осанну в адрес Петра I впервые произнес Маркс.

В чем перспективность *рациональной* (Фромм), или просвещенной, конструктивной авторитарной демократии? В синтезе ее эффективности, справедливости и силы. *Эффективности* – потому что такая демократия гарантирует динамический баланс свободы и ответственности, самоорганизации и организации, частных интересов и социального контроля, конкуренции и социализации. Каждая социальная группа или общность обладает здесь долей власти над властью, основанной на политическом консенсусе. *Справедливости* – потому что роль этих групп в созидании общественного богатства соразмерна их доле в его распределении, а неконкурентоспособные группы надежно защищены. Демократия должна быть *сильной*, чтобы твердой рукой направлять разноликие общественные интересы в русло базовых, общенациональных интересов. «Слабое государство, – писал В. Розанов, – не есть уже государство, а просто *«нет»* [1974, с. 181].

Главная проблема – в *характере и направленности* отечественной авторитарной демократии. Она по определению не может быть либеральной, но в равной мере и тоталитарной, и об этом свидетельствует как тупик западной либеральной демократии, так и отечественной тоталитарной демократии. Такая трансформация роли государства – действительно *общая воля*, но не тоталитарная *неволя* или либеральное *своеволие*. Первая – путь к консолидации и обновлению социума, иные – к его деградации и распаду.

Трезвые мыслители на Западе понимают самоценный и непреходящий смысл формулы Достоевского: «Лишь бы нам осамиться!», и пассионарную способность России, вопреки лихолетьям, «сосредотачиваться» и быть *самой собой*. Американский политолог Д. Ремник, автор книги «Могила Ленина», указывает на глубинные истоки феномена России-Феникса: «Если бы русские сегодня пытались создать современное государство исключительно по иностранным образцам и если бы в русской истории не было бы ничего... на что можно было бы опираться и чем можно было бы гордиться, мало чего можно было бы ожидать. Но... почва российской истории далеко не бесплодна». Ремник приходит к заключению: «Несмотря на очевидную стратегическую слабость России, на Западе преобладает мнение, что она возродится как великая держава» [Цит. по: НГ – Сценарии, 8.12.1999]. Ф. Фукуяма также считал естественным, что после крушения коммунизма и развала СССР встал вопрос о национальных интересах новой России. Даже те, кто выступает за возврат к «объективным» национальным интересам, «внутренне верят, что это означает смену статуса сверхдержавы XX века на статус великой державы XXI века» [Фукуяма, 2000].

Это значит, пишет эксперт Московского Центра Карнеги Л. Шевцова, что, не претендуя на сверхдержавность, «модернистский прорыв готовы поддержать 70 % россиян! Не будем впадать в крайность и идеализировать российское общество... Но для народа, который не имеет традиции политических свобод и самостоятельных институтов, россияне удивительно быстро начали осваивать новые для них ценности» [2005].

Тем не менее, в модернистском прорыве России другой эксперт этого Фонда усматривает альтернативу: «Основной вектор усилий России в новом веке должен заключаться в том, чтобы стать успешной страной... Слово страна сознательно противопоставляется понятию держава» [Тренин, 2002]. Это кредо ведет к слову одного из ключевых российских архетипов, ибо сильное, как изнутри, так и вовне, государство-*держава* было и остается ментальной ценностью россиянина. Искомая формула: «*И успешная страна, и великая держава*». В неузнаваемо новом мире Россия все более возвращает себе роль стабилизатора в «концерте» реальных субъектов международных отношений. К чести Г. Киссинджера, он задолго до принципиального мюнхенского «ревизионизма» В. Путина признал эту роль как кардинально значимый глобальный *инвариант*. «Представление России о себе как историческом игроке на мировой арене должно восприниматься всерьез» [Цит. по: НГ, 9.06.1999].

Разумеется, такая роль требует надежного «панцыря» (Вебер) – не просто «укрепления», а *модернизации* обороноспособности страны. Не менее значимо и творческое видение нового типа взаимообусловленности внешней и внутренней ипостасей России как великой мировой державы. Вызовы России отчетливо просматриваются «по всем азимутам», и предстоит выяснить степень адекватности ее ответов.

2. Гетерогенность Запада – дилемма для России

«Фауст: Куда же мы теперь?»

И. В. Гете

Развивая идеи внешнеполитического «ревизионизма» в конструктивном духе, В. Путин, как президент Российской Федерации, в послании Федеральному собранию отметил: «Российская внешняя политика направлена на совместную прагматическую и неидеологизированную работу по решению насущных для нас проблем. Речь идет об основанной на международном праве культуре международных отношений без навязывания моделей развития и форсирования естественного хода исторического процесса» [Цит. по: МН, 27.04.–3.05.2007].

Современная культура международных отношений отвергает классическую геополитику «нулевой суммы» и исходит из приоритетной ценности международного права. Однако, в принципе верная, такая ориентация еще не лишена внутренней противоречивости. С одной стороны, Россия еще не вышла за пределы традиционной «Руси прадедов» – незавершенного поиска своих цивилизационных оснований и соответствующих геополитических ориентаций. Вопрос Киплинга: Россия – самая западная из восточных или самая восточная из западных стран? – остается во многом открытым. С другой стороны, в определении внешнеполитического маршрута страна вынуждена считаться с тем, что противоречия глобализации обусловливают *реструктуризацию* мира – расщепление, миграцию и новую консолидацию культурно-цивилизационных комплексов (КЦК) на фоне естественной в этом процессе борьбы за цивилизационную гегемонию или культурное лидерство. В свое время Бисмарк – мастер внешнеполитических гамбитов – советовал русскому послу: «Вся политика может быть сведена к... формуле – постарайся быть среди *трех* в мире, где правит хрупкий баланс пяти великих держав. Это единственная подлинная защита против формирования враждебных коалиций» [Цит. по: СМ, 2000, № 6, с. 26].

Кто эти «трое» в начале XXI в.? Самодостаточность даже великих держав в глобальном мире безвозвратно ушла в прошлое, и традиционную или восходящую субъектность демонстрируют четыре актора – один транснациональный (США и НАТО) и три суперрегиональных – Евросоюз, Китай и исламский мир. Отношение к этой триаде во многом зависит от выбора Россией своих культурно-цивилизационных ориентаций, и, если Россия – только Евразия, то восточный вектор вполне оправдан. Если же

Россия – «самая восточная из западных стран», то, не выпадая из евразийского спектра, она должна органично тяготеть к Западу. Проблема – и не только для России, но и Европы в целом, – в том, что после почти векового культурно-цивилизационного и геополитического разлома Европа совершает кардинальную «переоценку ценностей», и реально Россия все более имеет дело с «двумя Западами» – европейским и американским. В таком ракурсе выбор неотвратим, и неизбежно встает вопрос не только о том, «откуда мы» и «кто мы», но и отсюда – *кем мы* во взаимосвязанном глобальном мире.

2.1. Ракурс Россия – США

«Как гадали при Колумбе об Америке – «те же люди», как и в Европе, но «ходят ногами вверх и головой вниз»

В. Розанов

Еще в 90-х гг. прошлого века казалось, что, как наследник одной из двух сверхдержав биполярного мира, Россия должна «через голову Европы» ориентироваться по преимуществу на формально сохранившие сверхдержавный статус Соединенные Штаты Америки.

Однако опыт взаимодействия вначале «перестроечной», а затем и ельцинской России с Америкой показал, что она с неотвратимостью естественного закона конвертирует так называемые «общечеловеческие ценности» на свои национальные интересы, именно их выдавая за универсальные.

Кануло в Лету время, когда государственный секретарь США Дж. Адамс писал: «Где бы – сейчас или в будущем – ни водружалось знамя свободы и независимости, там сердце Америки, ее благословение и молитвы. Но она не пойдет в чужие пределы, чтобы истреблять там драконов. Она желает свободы и независимости во всем мире. Но борется она и защищает только свои собственные свободу и независимость... она даже могла бы диктовать миру свою волю. Но тогда она уже более не смогла бы оставаться хозяйкой своего собственного духа» [Цит. по: Киссинджер, 2004, с. 267]. Уже в начале XX века президент Т. Рузвельт провозгласил: «Пресная праведность, не подкрепленная силой, точно так же безнравственна и даже еще более вредоносна, чем сила, лишенная права» [Там же, с. 269]. Пришедший ему на смену В. Вильсон, пишет Киссинджер, полагал, что «у Америки более высокое нравственное призвание: переделать мир по своему образу и подобию» под углом зрения вопросов «Верно ли это? Справедливо ли это? Соответствует ли это интересам человечества?» и, разочарованный Версальским миром в 1919 г, заявил, что христианские нормы нужно «вбивать силой». И даже президент Т. Рузвельт в 1941 г. подчеркивал, что целью американской политики являются «четыре свободы..., и притом повсюду в мире». Так, пишет американский дипломат, «США облачились в мантию... защитника и борца за права народов всего мира» [Там же, с. 276].

В 90-х гг. США продолжили строительство «потемкинской деревни» своего универсализма. Заместитель госсекретаря С. Тэлбот утверждал, что «американский народ хочет, чтобы внешняя политика его страны руководствовалась идеальными ценностями, а не только реальными интересами. Соединенные Штаты вполне осознанно и неизменно полагают, что их страна основана на системе идей и идеалов, которые применимы повсюду в мире» [Talbot, 1994, с. 49]. В документе «Стратегия национальной безопасности США для нового столетия» утверждалось, что они «остаются самой мощной силой, стоящей на страже мира, процветания, всеобщих ценностей демократии и свободы», но «императив вовлеченности» требует, что «мы должны лидировать в мире... проявлять свою волю и способность к глобальному лидерству». И вновь – заверения в том, что «в основе международного лидерства США лежит сила демократических идеалов и ценностей» [Стратегия..., 1999].

Однако авторитетный американский политолог Т. Грэхем не считает нужным скрывать «голого короля». В статье, адресованной специально Москве, он откровенно пишет, что «вызов для США состоит лишь в том, чтобы разумно использовать свою мощь для углубления своих интересов, а не растрачивать ее на второстепенные дела» [Цит. по: НГ, 31.05.2001]. Ранее эти интересы кристаллизовались в известном афоризме: «Что хорошо для Джeneral моторс, хорошо для Америки». Ныне – что хорошо для Америки, хорошо для мира, и эта формула уверенно проецируется на мировую *перспективу*. Геополитики Дж. и М. Фридманы в книге «Будущие войны и американское мировое господство в XXI веке» не только пишут о том, что «двадцать первый век будет американским веком», но видят в нем «начало американской эры, начало *американского тысячелетия*» [Цит. по: Геополитика..., 2006, с. 64].

В этом есть своя – неистребимо имперская – логика. Было время, и наследники Цезаря называли Рим «вечным городом» в то время, когда он уже рушился. Официальная Америка «под собою не чуяла» планеты, подменяла причины следствиями, особенно в контексте американской «склонности... поднимать переполох по поводу «национальной безопасности»... эта ее несамостоятельность вполне реальна и подчас прискорбна» [Лернер, т. 2, с. 473]. Историк из Йельского университета Т. Снайдер в статье «Оруэлл, двадцать лет спустя» писал, что президент США, неокон Буш-младший «без конца толкует о свободе, так что уже тошнит» [Цит. по: ЛГ, 30.03.– 5.04.2005]. Даже известный и признанный аргус американских национальных

интересов усматривал в этом «типичный пример катастрофической некомпетентности государственного руководства» [Бжезинский, 2005]. Симптомы тупика множились, и они были заметны уже на американском политическом Олимпе. Вначале «бунтовали демократы... каким все-таки образом умудрилась администрация завести страну в такое болото... Но вот то, что взбунтовались республиканцы, партия власти, это новость... Как сказал один из вашингтонских острологов, «Буш выглядит сегодня так, словно готов внести 28-ю поправку к Конституции о праве президента задать простой вопрос: «Можно, я пойду домой?»» [Янов, 2005].

Общий баланс старомодных претензий США на «сверхдержавность» подвели ведущие американские политологи и геополитики. Многоопытный Г. Киссинджер констатировал, что «перед лицом, быть может, самых глубоких и всеобъемлющих потрясений, с какими когда-либо сталкивался мир, они не в состоянии предложить идеи, адекватные возникающей новой реальности» [2002, с. 3]. По словам директора Фонда Никсона Д. Саймса, у США, конечно, есть глобальная *роль*, но это вовсе не означает, что у них есть глобальная *миссия*.

Поучительный парадокс в том, что именно эта миссия непреходяще выдается как защита «общечеловеческих ценностей», и США не только по-прежнему видят мир сквозь призму этого софизма (подмены основания), но деятельно и упорно «выпрямляют спираль» мира в этом духе. Независимо от партийных «качелей» в США – это их внешнеполитический *инвариант*, хотя он и выявляется в разных формах. Интересы правящих элит США далеко не всегда не совпадают с интересами мирового сообщества, а редукция к ним универсальных ценностей – их «похищение» у мира.

Анализ американской внешнеполитической реальности затруднен прежде всего неоимперскими интересами и производными от них мифологемами Вашингтона относительно Москвы. В прежнем двухполярном мире их отношения напоминали черно-белый телевизор: США олицетворяли «империю добра», СССР – «империю зла», и почти все – от сути до эволюции стратегий – решалось в духе *realpolitik*. В 1946 г. посол США в СССР Дж. Кеннан впервые предложил идею *сдерживания* – удержания СССР строго в пределах той сферы влияния, которую он создал в ходе борьбы против нацистской Германии и милитаристской Японии. Президент Г. Трумен официально провозгласил эту стратегию. Вашингтону было недостаточно «сдерживания», и поэтому идея Кеннана оказалась неприемлемой для части американской элиты как «слишком оборонительная» концепция. Консерваторы требовали «отбросить» СССР и избрали наступательный курс. Базовые документы той эпохи позволяют понять, как это происходило в обстановке распада-развала СССР.

Вот достойные воспроизведения опорные мысли мемуаров «Как изменился мир» президента Дж. Буша-старшего и Б. Скаукрофта – советника по национальной безопасности:

Буш: Я лично считал, что идеальным вариантом было бы рассеивание Советского Союза, когда возникли бы различные государства, но ни одно из них не располагало бы такой ужасной мощью, какая была у Советского Союза.

Скаукрофт: Я считал, что для нас будет лучше, если Советский Союз развалится... Вместе с тем я не считаю, что такой должна быть *официальная* американская политика. Такая позиция почти гарантировала бы враждебное отношение в долгосрочном плане большинства русских граждан, которые составляют большинство населения Советского Союза.

Буш: 8 декабря (1991) мне позвонил Ельцин, чтобы рассказать о своей встрече с Кравчуком и Шушкевичем.

Ельцин... Это чрезвычайно важно. Учитывая уже сложившуюся между нами традицию, я не мог подождать даже десяти минут, чтобы позвонить вам (Горбачеву сообщили позже – И. Л.)...

Скаукрофт: Вслед за соглашением о создании СНГ Ельцин рьяно работал над завершением распада Советского Союза.

Больше всего запомнился Бушу звонок Горбачева к нему в Кэмп-Дэвид на Рождество с поздравлениями... Это был звонок о том, что на столе у президента СССР – указ о его собственной отставке, что никаких катаклизмов в бывшем СССР не должно быть, что Горбачев передает власть и «ядерный чемоданчик».

«Горбачев: У вас будет очень спокойный рождественский вечер».

Буш: Это был голос хорошего друга; это был голос человека, которому история в огромной мере воздаст должное. В этом телефонном звонке было что-то значимое. Здесь звучал голос истории. Во время разговора я чувствовал себя буквально частью исторического процесса. Это было очень важное событие, некий принципиальный поворотный пункт. Боже, как нам повезло в нашей стране – мы столько раз были удостоены твоей милости».

Скаукрофт резюмирует: «Итак, все закончилось... Мы упорно работали над тем, чтобы продвинуть Советский Союз в этом направлении... Мы внесли свою лепту в поиски благоприятного исхода из этой великой драмы, но ключевой фигурой заключительных сцен был скорее всего сам Горбачев... когда надо вырабатывать и закреплять жесткие программы экономических реформ, он, как Гамлет, уклонялся от выполнения своей задачи. В то время как я называю эту тенденцию к колебаниям *недостатком*, с нашей точки зрения, это было *благодатью*. Если бы у Горбачева была авторитарная политическая воля его предшественников, то мы бы и сейчас имели Советский Союз. Это был бы обновленный и усиленный Советский Союз» [Джордж..., 1998].

В известном смысле директор Московского Центра Фонда Карнеги С. Брукнер был прав: «Запад всегда будет наступать на Россию, когда только сможет, и это никогда не изменится» [Цит. по: НГ – Сценарии, 1999, № 3]. Но книга Буша – Скаукрофта также подтверждает мнение О. Бисмарка: «Обыкновенно думают, что русская политика чрезвычайно хитра и искусна, полна разных тонкостей, хитросплетений и интриг. Это неправда. Она наивна» [Цит. по: История России..., 1997, с. 10].

Вопрос в том, может ли Россия позволить себе такую *наивность* в начале XXI века, когда она имеет дело как с *вызовами* глобализации, так и с геополитическими *угрозами* разрушения ее целостности. В начале XXI в. крепнущая Россия не оставила повода для таких геополитических «снов», и США вновь ввели в антироссийскую «шахматную игру» козырную карту своего миссионерства под штандартом «оплота свободы и демократии». Однако *тактика* во многом изменилась. С одной стороны, Россию прессингуют, когда она претендует на *суверенную* демократию, с другой – в духе Хантингтона готовы ослабить давление при условии поддержки Россией глобальных претензий США.

Зб. Бжезинский в интервью «Независимой газете» был более однозначным: «В США широко распространилось разочарование по поводу тенденции, уводящей Россию от демократии... что тормозит превращение России в ведущую современную демократическую страну. Притом в европейскую страну» [НГ, 29.07.2005]. Гроссмейстер глобальной «шахматной игры» позволил себе публикацию статьи с выразительным названием «Moscow's Mussolini (Now Putin Is Creating a Fascist State)» [Brzezinski Moscow's..., 2004]. Даже обычно настроенный в саентистском духе Ф. Фукуяма заявил: «В США наблюдается разочарование тем, в какую сторону меняется Россия. Это можно сравнить с разочарованием любовника... мы думали, что Россия идет к эффективной либеральной демократии, как Чехия или Венгрия. Но мы с приходом Путина столкнулись с не очень демократическим государством с точки зрения сдержек и противовесов в виде гражданского общества, свободной прессы и т. д.» [Цит. по: МН, 22–28.06.2007].

Поворот американского руля стал предельно ясен, когда политический компас указал в направлении такой масштабной, по сути планетарной, акции, как торжества в Москве в связи с 60-летием Победы над фашизмом. О величии этого триумфа, его ключевой и непреходящей роли в спасении европейской и мировой цивилизации и культуры от «зверя из бездны» в свое

время писали даже недружественные СССР авторитеты. Достоин великого политика откровение У. Черчилля: «На протяжении последних двадцати пяти лет никто не был таким упорным противником коммунизма, как я. Но все это бледнеет перед тем зрелищем, которое раскрывается перед нами теперь. Прошлое с его преступлениями и трагедиями отступает в сторону. Дело каждого русского, борющегося за свой дом, является делом всех свободных людей во всех уголках земного шара» [Цит. по: МН, 18–24.03.2005]. Вашингтонский патриарх Г. Киссинджер усмотрел в этом подвиге закономерный итог двухвековой внешней политики России: «Как это ни парадоксально, в течение последних 200 лет баланс сил в Европе в нескольких случаях был сохранен благодаря усилиям и героизму России. Без России Наполеону и Гитлеру наверняка удалось бы установить всемирные империи» [Цит. по: НГ, 6.04.1999].

Однако официальный Вашингтон не только пренебрег нашим общим антифашистским наследием. Нельзя сказать, что в Америке не размышляли над конструктивными альтернативами. Президент Центра Никсона (Вашингтон) Дм. Саймс анализировал *иллюзии* Вашингтона, которые еще смотрят на Россию «сквозь призму холодной войны». Во-первых, «Россия Путина сравнивается не с характерной для ельцинского периода смесью авторитаризма, хаоса и коррупции, но с демократией, реформами, верховенством закона, которых прежде в стране практически не существовало». Во-вторых, «усилия Путина по укреплению государства... как правило, осуждаются здесь как новый авторитаризм», потому что, резонно замечал эксперт, «игнорируется, как и почему в данном случае поступает правительство».

Саймс признал, что «в этом контексте и при очевидной фокусировке... на продвижении демократии оправдывать сохранение американо-российского партнерства становится сложнее». Но это проблема не столько Москвы, сколько Вашингтона, потому что «Россия слишком важна, чтобы ее игнорировала какая бы то ни была администрация... Россия – это великая держава, у которой есть собственные интересы, взгляды и обстоятельства». Политолог дал не лишенный резона совет: «Россию не будут по-настоящему уважать, пока она не станет достаточно прозрачно формулировать свою... политику, а последняя не будет приносить разумных результатов. Недостаток уважения особенно важен, поскольку Россию по большому счету перестали бояться» [Цит. по: НГ, 25.04.2005]. По сути это рекомендация искомого *синтеза universalis и realpolitik*.

Директор Института международных исследований Стэнфордского университета К. Блэкер обратил внимание на *взаимосвязь* между укреплением российской государственности и реакцией на этот процесс в Вашингтоне. Ранее республиканцы критиковали Клинтона за вовлеченность в российские внутренние дела и утверждали: «Мы будем относиться к России как к великой державе, какой она является. Мы будем иметь дело с той Россией, какая есть». И они держались этой линии вплоть до 11 сентября 2001 года. «Внезапно для них опять стало важным иметь какое-то понимание траектории движения России».

Блэкер рационально объяснил такую перемену, и оно целиком стоит курсива: «*Все, что делает Путин, проистекает из одной и всеобъемлющей цели, какой является восстановление России в качестве великой державы... Я не считаю и никогда не ощущал того, что политика Путина движима политическими расчетами, связанными со свертыванием демократии... Ясно, что это отступление от либеральной демократии. Но не думаю, что это ее разгром. Вообще существует множество форм демократии. Я согласен с тем, что Путин сказал Бушу: Россия будет демократической, но демократической по собственному выбору. Я имею в виду, что важен контекст – культурно-исторический контекст... Я считаю важным для России определенное восстановление национальной идентичности вдоль культурных линий, вдоль исторических линий... Нет никаких оснований полагать, что Россия должна имитировать политическую культуру Германии, Великобритании и Соединенных Штатов для того, чтобы быть демократической. Россия найдет свой собственный путь*» [НГ, 3.06.2005].

Знарок российско-советской политической истории С. Коэн считает обоснованным право России на идентичность, включая *уроки* демократического процесса по аналогии с другими народами. Он пишет, что французы и американцы со временем изменили образы своих национальных революций в контексте современных ценностей. Американцы простили своим отцам-основателям их рабов. США почти 50 лет руководили президенты-рабовладельцы, а не имевшие рабов были сторонниками рабства. Более того, труд рабов использовался даже при строительстве Капитолия и Белого дома. Женщины в этой стране начали голосовать только в 1920 году. Коэн настаивает на *аналогии*: «Почему же российская демократическая нация не могла бы со временем простить Ленина и других основателей советской системы, которые все-таки были приверженцами демократии, хотя и подавляли ее? Простить как представителей своей эпохи...» [Цит. по: Коэн, 2005, с. 142].

Такие доводы свидетельствуют о том, что неангажированные американские эксперты признают *легитимность* российской суверенной демократии и видят *перспективу* ее поступательного развития. Это означает, что Дм. Саймс лишь отчасти прав, когда писал, что «такая, по-новому уверенная в себе Россия менее склонна прислушиваться к зарубежным советам...» [НГ, 10.06.2005]. Очевидно, Россия готова прислушиваться к *компетентным* советам, основанным на уважении к ней, и об этом свидетельствует внимание, которое российская элита уделяет аналитике названных выше и многих других экспертов. Россия заинтересована и готова «стать реальным *партнером* США», но решительно – не их *сателлитом*. Этот принцип известен давно: «Служить бы рад, прислуживаться – тошно».

Тем не менее, Дм. Саймс прав в том, что России еще недостает способности «достаточно прозрачно формулировать свою политику». Точнее, она не вполне овладела мудростью и искусством синтеза *universalis* и *realpolitik*, резко перейдя от горбачевско-ельцинской абсолютизации первой ко второй. Об этом свидетельствует, при понятном неприятии однополюсного и даже «полутораполюсного» мира, концепция и практика *многополюсного* мира, в котором Россия – один из его ведущих игроков. Такой подход вряд ли соответствует интересам как России, так и мира. «В условиях многополярного мира каждый из «полюсов» обречен на противостояние единственной сверхдержаве. Но такое позиционирование обнаруживает уязвимость России по ряду известных важных параметров. В многополюсном мире Америка имела бы дело с разобщенными субъектами международных отношений, и России это не гарантирует стабильности... Нам необходимо настойчиво стремиться к отказу от устаревшей геополитической парадигмы». Отсюда – реалистическая констатация: «Мир превратился не из биполярного в многополюсный, а из двухмерного в многомерный... это пересекающиеся и взаимодействующие друг с другом, но все же разные миры... Для каждого измерения должна существовать своя стратегия» [Ионин, 2000]. Если многополярный мир это «многополюсный миф» (Мирский), то более адекватным геоглобалистскому подходу представляется концепт *многомерного* мира.

Растущая многомерность мира подтверждается выявленным в предыдущем разделе книги феноменом Запада как двуликого Януса. Суть этой двуликости кратко выразил М. Лернер: «Европа разрывается между нуждой в Америке и отвращением к ней» [Т. 2, с. 469]. В этом фрейдистском комплексе «любви-ненависти» геополитика – лишь вершина айсберга, а его основание – фундаментальное, глубинное раздвоение «Запада», дистанцирование и подготовка к «разводу» американского и европейского культурно-цивилизационных комплексов.

Некоторые сторонники политики *universalis* еще питают иллюзии на этот счет. Так, А. Этциони пишет: «Отношение Америки как сверхдержавы к региональным организациям в целом (и к Европейскому Союзу, в частности) покажет, к созданию какой глобальной архитектуры она стремится» [2004, с. 161–162]. В этом духе – его предложение о трансформации НАТО «в глобальный альянс за мир и процветание, в котором Россия приняла бы полноправное участие» [Там же, с. 38–39]. Пока же и в обозримом будущем происходит «с точностью до наоборот». Отсюда – упорная реализация выработанного еще в период холодной войны, но

не афишируемого «плана Анаконды» – изоляции, окружения и «удавления» той России, которая не приемлет удел евразийского шерифа США. Отсюда – и попытка, выражаясь словами М. Голдмана, «*въехать в квартал*», втянуть в сферу американского влияния ряд новых государств, примыкающих к России.

Здесь – воспаленный нерв проблемы, но она уже далеко не столь однозначна, как в период глобальной конфронтации СССР и США. Ныне формула – с одним известным и двумя неизвестными. Вполне прозрачно откровение газеты «Уолл-стрит джорнэл»: «Россия – *враг*... Главное – внешняя политика России открыто враждебна политике США, даже там, где это не обещает России никаких выгод. Настало время, когда мы должны начать считать Россию Владимира Путина врагом Соединенных Штатов» [Цит. по: МН, 22–28.12.2006].

Не менее известны и оценки российских геополитиков. «Отношения между США и Россией натянуты... Эти отношения быстро сползают от незначительного партнерства к совсем холодному миру, по симптоматике напоминающему холодную войну. Нарастающая конфронтация опережает сдержанный оптимизм» [Геополитика..., 2006, с. 45]. Не удивительно, констатирует Э. Качинс, что «в то время как многие в США стали более скептически относиться к партнерству с Россией, значительная часть российской политической элиты также испытывает сомнения по поводу перспективы партнерства...» [Цит. по: НГ – Дипкуррьер, 21.02.2005].

Неизвестные слагаемые глобального неустойчивого баланса в решающей мере зависят от неопределенности *характера и способа* взаимосвязей между США, Европой и Россией. Без России как «своего-другого», ЕС обречен на американизацию и в итоге – на культурно-цивилизационную вторичность и удел протектората *Rex Americana*. Напротив, вместе с Россией в пространстве Большой Европы ЕС в принципе способен достичь искомой европейскости и реализовать модель альтернативного геоглобального обустройства.

Видимо, императив – в разрешении фундаментальных дилемм. Пора внести ясность в самоопределение России относительно «Запада». Если гомогенный «Запад» – уже мифологема, то отношения России с США и Европой, оставаясь взаимосвязанными (хотя и по-новому), по определению не могут совпадать. Демонизация США и антиамериканизм, как и всякое «анти», не продуктивны в принципе. Необходимо понимание реальной роли США и меры конструктивного взаимодействия к ним. Но культурный, ценностно-смысловой и отсюда – геоглобалистский выбор и стратегические приоритеты России – не за океаном, а в Европе. С таких позиций в ее пространстве наиболее емкая из дилемм – *европейскость* относительно американизма и европейскость относительно *российскости* – не только самоидентификации России как Евровостока или Евразии, но и высокой вероятности их сложного, но все же реального синтеза.

2.2. Европейский выбор России: pro и contra

«Ни Россия в будущем не сможет жить без Европы, ни Европа без России»

Иоанн Павел II

«Россия – наследница тоталитарной Азии; ее ценности несовместимы с ценностями Европы»

О. Халецки

Вынесенные взаимоисключающие суждения свидетельствуют о по-прежнему *открытом* характере сформулированной Р. Киплингом дилеммы: Россия – самая восточная *Европа* или самая западная *Азия*? В этой проблеме *самоидентификация* и *идентификация* России неотделимы друг от друга, но, думается, решение загадки русской – Сфинкс – прежде всего ее вопро-

шание к *себе* о собственной сущности и только в таком контексте – вопросы об отношении Европы к России.

Глубинная причина по-прежнему открытого характера дилеммы «Россия и Европа» или «Россия в Европе» в том, что, подобно «расщеплению» Запада (хотя и на иных основаниях), в отношении к Европе уже веками существуют *две России*. Н. Бердяев объяснил это фундаментальное противоречие бинарностью европейски ориентированного «сверхкультурного» логоса России и хаоса ее «азиатчины». Обе культуры имеют своих выдающихся адептов. В глубоко укорененном культурном «раздвоении единого» по сути в двух разных исторических временах – традиционном и модерна – веками прослеживаются две основные тенденции, незавершенный поиск позиционирования России по смысловой горизонтали *Запад-Восток*.

Бердяев проницательно выявил парадокс *взаимопроникновения universalis* ценностей российского западничества и *realpolitik* интересов славянофильства. С одной стороны, «отрицание России и идолопоклонство перед Европой – явление очень русское, восточное, азиатское явление. Именно крайнее русское западничество и есть явление азиатской души». Не менее очевидный «парадокс: славянофилы... были первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не подражать западной мысли» [1990, с. 54].

Критики славянофильства иногда представляют его как сублимацию *незрелости* русского национального самосознания. Один из персонажей Достоевского утверждал, что «за невозможностью быть русским стал славянофилом» [Т.10, с. 436], другой заключил, что «мы перековерканы до такой степени, что русскими быть не можем, и я стал славянофилом» [Т. 11, с. 295]. Между тем славянофильство сформировалось в результате *вызревания* русской идеи. Оно было подготовлено патриотическими идеями Ломоносова, оппозицией просветителей Новикова, Фонвизина, Карамзина, Радищева «офранцузиванию» русского общества. Зрелость этих мыслителей выявлялась как в неприятии квазипатриотического «русопятства», так и в нередкой русофобии. Вместе с тем, подлинно патриотический пафос славянофилов сочетался с противоречивым отношением к Европе. С одной стороны, Киреевский вполне определенно назвал основанный им в 1829 г. журнал «Европеец», с другой – это течение не избежало антиевропейской ксенофобии и миссионерства.

Закат классического славянофильства и его естественного производного – панславизма ясно выразил прозревший Достоевский. По его словам, славянофильство «дожило до самого своего верху и, стало быть, дальше не пойдет». Теперь понятно, что «все эти всеславянства и национальности – всё это слишком старо, чтобы быть новым» [Т.10, с. 32].

Были ли западники *русскими патриотами*, защищали ли они базовые интересы России, как и ее высшие ценности? В. Белинский взывал «к той истинной любви к Отечеству», которая «должна выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества» [1979, с. 225]. В письме В. Боткину (1847) он писал: «Я – натура русская. Скажу тебе яснее: я русский и горжусь этим... Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока – эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона». Уже в последние годы своей жизни «неистовый Виссарион» заключил: «Наше политическое величие есть несомненный залог нашего будущего великого значения и в других отношениях... В будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль» [Цит. по: НГ, 14.06.2001].

Концептуальные основания русского западничества ясно выразил В. Ключевский: «Чем кто больше любит свое отечество, тем настойчивее должен проводить это (европейское – *И. Л.*) влияние. Всякий патриот должен был стать западником, и западничество должно было стать только одним из проявлений патриотизма... Западная культура для нас вовсе не предмет выбора: она навязывается нам силой физической необходимости. Это не свет, от которого можно укрыться, – это воздух, которым мы дышим, сами того не замечая» [1983, с. 18–19].

В воззрениях В. Розанова общецивилизационная эволюция России так же необходима, как и сохранение ее культурной идентичности. С его точки зрения, «как было бы ошибочно назвать «западником» Ломоносова, так ошибочно будет назвать Погодина «славянофилом»... Они были слишком даровиты и жизненны, чтобы принять эти, в конце концов, несколько книжные теории... Западничество и славянофильство, так и не соединимое в книгах, соединяются... в живой натуре человека, которая богаче, могущественнее и правдивее всякой логики» [1992, с. 81].

Все точки над «і» исчерпывающе расставил П. Струве: «Я западник, и, следовательно, националист». Н. Бердяев подчеркивал, что славянофильство и западничество были двумя необходимыми ипостасями вызревания смыслового *синтеза*. Россия – «целый огромный мир, объединяющий бесконечное многообразие, великий Востоко-Запад...» [1990, с. 101, 116]. На почве буржуазной культуры она «никогда не будет талантлива. Ее гениальность в ином... Миссия России быть Востоко-Западом, соединительницей двух миров» [1994, т. 1, с. 302].

Эти строки написаны под влиянием революций 1917 г. в России. Попытка духовного облагораживания большевизма, его интеграции в контекст первородной русской идеи стали смыслом идейно-политического движения, которое в 1921 г. провозгласило себя как *евразийство*. По Бердяеву, «евразийцы стоят вне обычных «правых» и «левых» [Россия между..., 1993, с. 12]. Тем не менее, П. Савицкий правомерно подчеркивал, что евразийство «лежит в общей со славянофилами сфере», однако последнее «было течением провинциальным, домашним» [Там же, с. 102, 103], отягощенным этнонационализмом. Это положение принципиально важно для понимания масштабов и псевдо-универсалистского смысла евразийства. Как писал отошедший от евразийства П. Флоровский, евразийцам «первым удалось расслышать живые и острые вопросы творимого дня», но все же «это – *правда вопросов*, а не правда ответов, правда проблем, а не решений...» [Там же, с. 22].

Когда студенты Московского университета обратились к Достоевскому с письмом, он ответил, что, отстраняясь от российского общества, студент «уходит... куда-то за границу, в «европеизм», в отвлеченное царство не бывалого никогда общечеловека, и таким образом разрывает с народом» [Цит. по: ЛГ, 26.01–1.02.2005] Но по самоопределению «русский европеец» мыслитель был убежден: «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, *всечеловеком*... Для настоящего русского Европа и удел великого Арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел всей родной земли, потому что наш удел и есть всемирный» [Т. 26, с. 147–148].

Русский человек в Европе ментально и издавна «у себя дома». Ее, говоря словами Ф. Достоевского, «священные камни» это не только хранимый сакральный пепел великих русских культурных и политических деятелей, которые *учились* у Европы и *учили* ее, но и общее, вопреки расколу, христианское наследие и общая страшная цена, заплаченная за освобождение Европы от нацистской чумы.

Но память хранит и иное. Чудовищная закономерность XX в. заключается в том, что дважды Россия и Германия воевали на истребление, а в выигрыше оказывались США. В 1941 г., как упоминалось ранее, президент Г. Трумен цинично говорил: «Если мы увидим, что побеждают немцы, то будем помогать русским, если же будут побеждать русские, то следует помогать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно больше» [Цит. по: НГ, 22.06.2001]. Так поступают только «не-свои-чужие».

Известна роль России в объединении германских княжеств в единое государство. Она оказала им существенную поддержку, и канцлер Вильгельм I прислал Александру II прочувствованную телеграмму, утверждая, что «Германия обязана своим объединением только России» [Цит. по: СМ, 1997, № 12, с. 69]. Интересно, что Бисмарк, прислушиваясь к Ницше, заклинал никогда не воевать с Россией и трактовал отношения с ней в «семейном» духе: «Тев-

тоны – муж, славяне – жена» [Цит. по: Розанов, 1970, с. 418]. Тем не менее, австро-венгерский кайзер Франц Иосиф писал своей матери: «Наше будущее – на востоке, – и мы загоним мощь и влияние России в те пределы, за которые она вышла только по причине слабости и разброда в нашем лагере... мы доведем русскую политику до краха. Конечно, нехорошо выступать против старых друзей, но в политике нельзя иначе, и наш естественный противник на востоке – Россия» [Кайзеры..., 1997, с. 433].

Ключевые слова здесь, вопреки геополитической интриге (в равной мере характерной для Бисмарка, Ришелье и Горчакова), – «*наше будущее на востоке*» как пространстве «*друзей*». Страшная правда и в том, что этот смысл был подорван нацистским геноцидом славянства. Испытываемый сегодня Германией комплекс *исторической вины* не снимает кардинального вопроса: являлись ли споры и даже «ссоры» России с другими государствами Европы индикаторами национализма, не дозревшего до осознания коренной общности *единой* культурно-цивилизационной «*семьи*» или они стали свидетельствами столкновения *различных* цивилизаций? Приблизиться к решению этой грандиозной проблемы можно путем постижения контекста *эволюции* реальной роли России в Европе, анализа далеко не однозначных оценок России в Европе и, напротив, столь же противоречивого видения Европы самой Россией.

Исследователи отмечают, что, в отличие от преимущественного интереса Европы к мусульманскому Востоку в средневековый период, Россия стала предметом пристального внимания, начиная с эпохи Возрождения. Эней Сильвий Пикколомини (папа Римский Пий II) считал русских *европейцами* в связи с их *христианским* вероисповеданием и искал союза с Россией против мусульманской угрозы. Такая интенция еще долгое время вызывала различные суждения и споры. В начале XVI в. Ф. Рабле причислял русских к *язычникам*, или неверным (*mescreants*), скопом зачислив в эту категорию «москвитов, индусов, персов и троглодитов».

В 1620 г. Иоанн Ботвид в докторской диссертации обсуждал вопрос: «Являются ли москвиты *христианами*?» (король Швеции почтил своим присутствием ее защиту) [Мережковский, 1991, с. 197]. В доминировавшие представления той эпохи входила еще тема *цивилизации* русских. Считалось, что они не достигли эталонного (т. е. западноевропейского) уровня, и по этой причине подчеркивалось их *варварское* состояние, недостаток цивилизованности. Когда Дж. Мильтон называл Московию середины XVII в. «самым северным регионом Европы, который можно признать цивилизованным», то этот отзыв можно было счесть почти комплементарным на фоне той дурной репутации, которую ей приписывала версия, доминирующая в Европе того времени.

В XVIII–XIX вв. имидж России продолжал оставаться двусмысленным. Об этом свидетельствуют крупнейшие европейские авторитеты. Г. В. Лейбниц называл русских «крещеными медведями». Ж. де Местр впервые высказал идею о том, что историческая судьба России пока *не определена*. А. де Кюстин совершил путешествие в Россию и заключил, что ей еще «предстоит угадать партию своей национальной карьеры». Отрезанная от Европы христианским расколом и татарским нашествием, она не стала частью европейского мира: «Это не Европа, или, по крайней мере, это азиатская раса, оказавшаяся в Европе. Для того, чтобы предстать достойной гостьей на европейском пиршестве, Россия должна последовательно пройти все стадии развития европейских стран, подчиняясь собственной традиции, и тогда законы универсального развития приведут ее туда же, куда до сих пор приводили всех» [Кюстин, 1994, с. 98, 103–104]. В период вторжения Наполеона в Россию Гейне вначале оплакивал его поражение «на ледяных полях Севера», где «сыны огня и свободы погибают от стужи и от рук рабов», но, прозрев под влиянием освободительной роли России в русско-турецкой войне 1829 г., отмечал, что «русские уже благодаря размерам своей страны свободны от узкосердечия языческого национализма» [Соч., т. 4, с. 227].

Хорошо известно, что Гегель отчетливо подразделял народы на «исторические», субъектов истории, и «неисторические», которым «нечего сказать» миру. Правомерность такого

различения спорна и требует специального анализа. Однако в пределах нашей темы существенно отметить, что в 1821 г. Гегель в частном письме, получившем впоследствии широкую известность в России, писал российскому респонденту: «Вы счастливы, что имеете отечество, занимающее столь огромное место во всемирной истории, отечество, которому, без сомнения, предстоит еще гораздо более высокое предназначение. Другие государства как будто бы уже достигли цели своего развития, быть может, кульминационный пункт некоторых из них уже позади, и форма их приобрела постоянный характер, тогда как Россия, будучи уже, пожалуй, наиболее мощной силой среди остальных государств, заключает в своих недрах неограниченную свободу развития своей интенсивной природы» [Цит. по: МН, 24–30.11.2006]. Напомним, что эти строки принадлежат мыслителю-*европоцентристу*, и в такой оптике – его оценка динамики российского потенциала как европейского по своей природе.

Однако эти перспективные идеи тогда не стали парадигмой. Даже О. Шпенглер, который критически относился к западному центризму, писал, что «слово Европа и возникший под его влиянием комплекс представлений были единственной причиной, заставлявшей наше историческое сознание объединять Россию и Европу в одно ничем не оправдываемое целое... Все это слова, заимствованные из банального толкования географической карты и не имеющие под собой никакого реального основания» [1993, с. 50]. «Будущее Британской империи, – говорил в 1919 г. британский премьер-министр Ллойд Джордж, – может зависеть от того, как будет развиваться ситуация в России, и лично я не могу хладнокровно думать о могучей и единой России со 130-миллионным населением» [Цит. по: История..., т. 1, с. 96–97]. Известный польский социолог О. Халецки в годы послевоенного протектората СССР над Польшей свел застарелые счеты «между славян»: «Россия – наследница тоталитарной Азии; ее ценности несовместимы с ценностями его концепции Европы». Такой дальтонизм порой в принципе не знает меры. Не говоря уже о Польше, первый канцлер ФРГ К. Аденауэр чувствовал дискомфорт, проезжая поездом Среднюю Германию, и опускал шторы, чтобы «не видеть этой азиатской степи» за окнами вагона [Цит. по: ОНС, 1997, № 6, с. 89]. Далеко ли русофобия ушла со времен холодной войны, свидетельствует Г. Кроне-Шмальц, корреспондентка телевидения ФРГ в Москве, автор нескольких добротных книг о России. Уже в 2005 г. она констатировала, что «в случае с Россией налицо *громадный разрыв* между существующими в этой стране *реалиями*, с одной стороны, и *стереотипами*, все еще сохраняющимися в западных головах, – с другой» [НГ, 14.10.2005].

Как ранее не без оснований заметил персонаж Достоевского, «ненависть тут тоже есть... они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России...» [Т. 10, с. 110–111].

Однако было бы односторонним утверждать, что дальтонизм русофобии фатально гнездится в недрах *ratio* геополитики или ментальности. В действительности они издавна и прочно включают в себя и свою противоположность – не менее фундаментальную *русофилию*.

В последней четверти XIX в. обострение отношений между Россией и другими великими державами привело к тому, что «Европа хмурится и вновь начинает беспокоиться» [Достоевский, т. 10, с. 375]. В это критическое время самым веским оказалось ницшеанское видение *сущего и должного* России. В отличие от версии России как азиатской страны, мыслитель усматривал реальность в «громадном срединном царстве», где «сильнее и удивительнее всего сила воли проявляется, где Европа как бы возвращается в Азию – в России» [1990, т. 2, с. 244].

Мыслитель отчетливо видел историческое величие России в таких признаках, как «воля, побуждающий инстинкт, антилиберальная до яркости – воля к традиции, к авторитету, к ответственности за целые поколения, к солидарности прошлых и будущих поколений, из рода в род... Если такая воля налицо, то возникает что-нибудь вроде Римской империи или вроде

России – единственной страны, у которой в настоящее время есть будущность, которая может ждать, может обещать...» [1990, т. 1, с. 403]. Ницше предлагал Европе последовать примеру России, «решиться сделаться столь же сильной, а именно получить единую волю» с тем, чтобы уже в следующем столетии она была способной осуществлять такую же «метapolитику», как и российская [1990, т. 2, с. 244, 245]. Даже «как бы возвращение» России в Азию не довод для отрицания ее *европейского* характера. Историческая судьба Европы *неотделима* от судьбы России. «Мыслитель, у которого на совести лежит будущее Европы, при всех своих планах, которые он составляет себе относительно будущего, будет считаться... с русскими, как наиболее верными и вероятными факторами в великой борьбе и игре сил» [1990, т. 2, с. 287]. Ницше писал не только о том, что «мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе», но и провозглашал: «Никакого американского будущего!» и максималистски требовал: «Сращение немецкой и славянской расы» [1998, т. 1, с. 42–43].

После Первой мировой войны А. М. ван ден Брук, ведущий представитель идеологии Консервативной Революции, выдвинул идею союза с Россией, несмотря на приход к власти ленинского большевизма. Граф фон Брокдорф-Ранцау предложил дипломатический проект, который привел к германо-советскому анти-Версалу – соглашению в Раппало (подписанному Ратенау и Чичериним в 1922 г.). Тенденцию формирования паневропейского пространства отмечал К. Хаусхофер в основанном им в 1924 г. журнале «Геополитика».

Новый этап русофилии, основанной на паневропейской идее, наступил под решающим влиянием голлизма в Западной Европе. Де Голль в радиообращении о результатах своего визита в СССР в 1966 г. назвал его «визитом вечной Франции в вечную Россию». Это прочная традиция. И. Батай, редактор журнала «Геополитика», профессор Сорбонны (Франция), отмечал, что неоголизм «не воспринимает Европу как некое ограниченное пространство... Сорок лет назад было сказано, что Европа простирается от Атлантики до Урала. Мы считаем, что она простирается от Атлантики до Тихого океана» [Цит. по: МН, 8–14.12.2006]. Известный геополитик Ж. Тириар назвал свою книгу «Европа от Дублина до Владивостока». В этом же ключе австрийский экс-канцлер Г. Клаус написал книгу «Большая Европа, конфедерация от Атлантики до Владивостока». По его инициативе в 1993 г. была создана комиссия «Большая Европа». С точки зрения Р. Стойкера,

«Европа, где мы родились, Европа, поделенная на конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме, – эта Европа противна жизни... Мы осознали, что нас планомерно удушают, и поняли эту стратегию: блокировать Европу... от России... для предотвращения *евро-российской синергии* (курсив мой – И. Л.)...проект обновленного и безупречного евро-российского союза – не аномалия и не сумасбродство» [Стойкерс, 2002].

Под этим углом зрения Россия трактуется не просто как органически европейская, но и «надежда и опора» старой Европы. Эта вероятность особенно беспокоит таких ветеранов русофобии, как Бжезинский, и отсюда его предложение и одновременно – предупреждение: «Если Россия не обретет тесных связей с Североатлантическим сообществом, то в какой-то момент идея генерала де Голля о Европе до Урала станет реальностью, причем не той, которая могла бы понравиться большинству россиян» [Цит. по: НГ, 21.12.2001].

Возможно, классики геополитики недооценивают, что искомый Гете синтез силы и разума не сводится к противостоянию панатлантизма и паневропеизма, а покоится на глубоких *культурно-цивилизационных* основаниях. Убедительным свидетельством движения европейской мысли в этом направлении стали размышления Иоанна Павла II о том, что «ни Россия в будущем не сможет жить без Европы, ни Европа без России», и будущее Европы «во многом зависит от того, куда пойдет Россия». Видя перспективу общеевропейского строительства, говоря его словами, «от Атлантики до Урала и дальше», Папа последовательно подчеркивал, что «без единого культурного пространства трудно представить себе единую Европу будущего» [Цит. по: НГ, 12.11.1993].

Американский политолог Ф. Закария, солидарный с видением паневропейской перспективы, интерпретирует историческую *уникальность* России в контексте не оппозиции, а нераздельности и вместе с тем специфики ее общеевропейских культурных и цивилизационных оснований. Для него очевидно, что Россия «во многих отношениях является европейской страной, однако имеет несколько отличную от большинства европейских народов историю... Россия издревле имела тесные связи с Европой... Россия – огромная страна, представляющая собой самобытную цивилизацию, обладающая уникальным интеллектуальным и культурным потенциалом и... являющаяся частью западного мира» [2004, с. 47, 48, 51].

Однако *принадлежность* России к Европе и *вовлеченность* в ее судьбы не однозначны и даже могут противоречить друг другу, как *внутренние* и *внешние* связи. Индикатором принадлежности России Европе может быть, к примеру, ответ М. Кутузова на полученную им от поэтессы А. Буниной оду, где говорилось, что чаша весов с кровью воинов перевешивает чашу с Москвой. Полководец ответил жестко, но однозначно: «Я весил Москву не с кровью воинов, а с целой Россией, и со спасением Петербурга, и со свободой Европы» [Цит. по: НГ, 1.12.2000]. Это подвиг «русского европейца», купленный страшной ценой. Но означает ли «азиатчина» – вовлеченность имперской России в дела Европы в качестве «жандарма» – принадлежность к ней?

Проблема напоминает формулу «квадратуры круга». Вновь ожившее евразийство энергично акцентирует ее дифференциалы и полагает невозможным ее интеграл. Адепты неоевразийства просто дезавуируют иные подходы. Между тем, даже с формально-логической точки зрения, А. Дугин называет свой текст «Альтернативная Европа», а с другой... обратимся к источнику.

С одной стороны, бесспорно, что «если Россию называть Европой, то надо говорить, что есть две Европы – русская, или православная, и Западная Европа... католико-протестантский ареал». Однако за этим следует противоположное суждение: «В этом смысле Россия никакая не Европа, и Европа – никакая не Россия, это очевидно. Глупо сравнивать... Европа и Россия – это два равнопорядковых, но различных между собой явления. Нелепо рассматривать Россию как часть Европы, точно так же, если мы осознаем, что речь идет о различных путях исторического развития христианской культуры, Европу нельзя рассматривать как часть России. Можно сказать, что мы имеем дело с двумя цивилизациями... (со времени Раскола – *И. Л.*)... Это две традиции, две линии в рамках христианского мира, которые уже более тысячелетия живут по разным законам, развиваются по разной логике и имеют разную историю. Западное и восточное христианство – это два полюса, не сводимые ни в чем, имеющие собственную логику... западники просто отказываются понимать, что речь идет о двух различных цивилизациях».

В этом пассаже остается не ясным, является ли Россия «альтернативной», но все же *Европой* на том основании, что она *православная*, а не протестантско – католическая? Ассиметрия мозга не означает отрицания единства его полушарий, а, как следует из названия статьи, предполагает его. А. Дугин верно пишет, что «нельзя говорить о том, чтобы взять какую-то часть одной из этих цивилизаций за универсальный критерий. Именно в этом случае возникает абсолютно неверное представление о том, что Россия – это такая плохая Европа». И здесь же – абсолютизация «ассиметрии», или «наличие двух субъектов, двух идентичностей, двух самостоятельных субстанций... Речь идет о развитии отношений... между двумя различными сущностями». Уже под занавес – известный и неизбывный, в духе Ксеркса, а не Христа, имперский «сон»: «Поэтому чисто гипотетически, если бы мы особенно постарались, то вполне могли бы *включить в себя* Европу» [2007].

Оказывается, конструктивное решение проблемы невозможно не по существу, а в силу ее *неимперской* ангажированности: либо Россия «включит в себя Европу», и тогда можно великодушно счесть себя уже не «альтернативной», а доминирующей, *русоцентричной* Европой, либо «мы повернемся к вам своею азиатской рожей». Дугин вдохновлен «волей наших наро-

дов к воссозданию великой империи. Это та имперская легитимность, выше которой вообще ничего нет... Перед этой целью и миссией никакие законы и правила не имеют голоса. А оформить все можно и потом в полном соответствии с требованиями легальности и правовыми нормативами. Была бы только воля» [МН, 1–7.12.2006]. Перед подобными откровениями «стороны в почтительном недоумении народы... И дивятся другие народы» (Ф. Достоевский).

Между тем рациональный синтез не только возможен, но и его, в терминах Э. Фромма, «актуальная потенциальность» в том, чтобы, осознав недальновидность, бесперспективность и *гибельность* почти тысячелетнего раскола христианской Европы на две ветви [Левяш, 2003], понять и различить *сущность* – общую корневую систему и *существование* Европы, которое «не принадлежит к природе вещей» (Фома Аквинский). В такой логике объективное противоречие между цивилизационной «почвой» и европейской культурной «солью» России предполагает осознанный выбор не между неоевразийской утопией и реальностью, а разными по объему и смыслу *содержанием* и *сущностью*, тенденциями и их вектором. Включая в себя Азию, но оставаясь собою, Россия сопричастна к ней, способна к ее пониманию и сотрудничеству именно как Европа. Но как культурный субъект, Россия – не азиатская, а *европейская* Евразия, или *Евровосток*, и в таком качестве принимается Европой как «свое-иное». Д. Лихачев возвел такую ориентацию в социокультурный императив: «Бессмысленно спорить о том, принадлежит ли Россия Европе или Азии... Русская культура... культура единая... принадлежат европейскому типу культуры» [1991, с. 297]. Это – *европейская самоидентификация* России как неотъемлемой подсистемы *триединой* Европы [Левяш, 1999; он же, 2004, гл. 11; он же, 2005].

Такая Европа во многом еще «вещь в себе» (подобно еще недавно Центральной Европе), и объективная тенденция ее трансформации в «вещь для себя» не может быть автоматической, тем более – линейной. Движение Евросоюза на Восток обострило противостояние *pro* и *contra* европейского характера России. Симптомы дезориентации и неизбежного скепсиса достаточно многообразны, и диагноз «кризис» практически не оспаривается политическими элитами и экспертным сообществом.

«Определенность неопределенности» отчетливо выявилась на представительных форумах. Так, через все дискуссии XV Международного экономического форума в Крыница-Здруй (Польша, 2005) проходил вопрос о границах Европы вообще и Евросоюза в частности. С точки зрения россиян, Россия – неотъемлемая часть Европы, и неуместны споры о том, не стоит ли «закончить» Европу в районе Уральских гор. Совсем иную точку зрения озвучил на пленарной секции «Модель и границы Европы» президент Литвы В. Адамкус: граница ЕС должна проходить по восточной границе Литвы с Россией и Белоруссией. Никто ему не возразил [МН, 16–22.09.2005].

На международной конференции в Москве накануне Рижского саммита НАТО (2006) А. Рар, директор программ России и стран СНГ Центра Кербера (Германия) констатировал «очень серьезный кризис в отношениях Европы и России сегодня» и «многое» объяснил тем, что «мы просто не понимаем новую роль России, по-прежнему рассматриваем Россию в том образе, в котором мы ее рассматривали в 90-е годы». Политолог выразил надежду, что, «сам Путин не хочет войти в историю как политик, который потерял Европу для России» [МН, 8–14.12.2006].

Действительно, исходное условие выхода из кризиса – понимание Западом *новой* России, драматически прошедшей «смутное время» конца XX в. и уверенно встающей с колен в начале XXI в. Те силы, которые пытались использовать переходную слабость России, не в ладу с прогностикой, основанной на историческом опыте. Россию не однажды ставили на колени, но она неизменно вставала Фениксом из пепла, ценой огромных жертв «сосредотачивалась» и самоутверждалась.

Как заметил Бисмарк, «Россия никогда не сильна и не слаба настолько, насколько кажется» [Цит. по: НГ, 27.03.2001]. Парадокс, но она всегда, в конечном счете, сильнее, чем

казалась, в грозные времена. Известный «кремлелолог» Т. Грэхэм однозначно признает, что «России до сих пор удавалось преодолеть периоды стратегической слабости и восстановить свой статус великой державы, а те, кто недооценивал ее силу...расплачивались за это очень дорого» [1999].

Отто фон Бисмарк писал, что «Германия никогда не должна порывать связей с Россией». Его правнук, князь Фердинанд фон Бисмарк в книге «Посадим Германию снова в седло. Новые соображения патриота» пишет, что Россия является неотъемлемой частью Европы. «Россия является по своему происхождению, религии и традициям европейской страной. Именно Россию и Германию должна связывать дружба, основанная на историческом опыте... Германия должна всячески содействовать этому в соответствии с духом тех дружеских связей, которые в свое время обосновал Бисмарк» [Ferdinand, 2004, с. 200].

Неверной по существу является надежда, что Россия, ее политическая элита *не хочет* «не потерять Европу». Россия по определению *не может* потерять свою исторически вызревшую *европейскую сущность*. Иное дело – Евросоюз, который – искренне или по расчету – не может или не хочет признать эту сущность в ее динамике, вполне может потерять *доверие* России.

Для адекватного понимания ситуации Брюссель должен понять *сущность* современной европейской политики Москвы. Выбор России, прошедшей «краткий курс» горбачевско-ельцинской платонической и неразделенной любви к «Западу», основан на самоидентификации страны в предложенной В. Путиным формуле: «Россия была, есть и будет крупнейшей европейской нацией». Логичный интеграл такого подхода сформулирован В. Путиным в бундестаге ФРГ в 2002 году. Геоглобалистский лейтмотив его речи в том, что Европа могла бы сыграть влиятельную роль в глобальном плане, если она *объединит* свой потенциал с потенциалом России [Актуальные..., 2003, с. 167].

Россия отклоняет латентную неоимперскую интенцию «расширения» Европы, но усматривает объективную закономерность в ее «воссоединении» и строительстве Большой Европы, включающей наши народы и государства. В. Путин в своей статье «Новый интеграционный проект для Евразии» констатировал *европейский контекст* евразийской интеграции и «ложную развилку» выбора между ними некоторых соседних государств. Глава российского правительства подчеркнул, что действующие структуры СНГ, как и проектируемый Евразийский Союз, будут «строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой Европы, объединенной едиными ценностями свободы, демократии и рыночных законов». Это «позволит каждому из его участников быстрее и на более сильных позициях интегрироваться в Европу» [Путин, 2011].

Это прежде всего *европейский* выбор великой державы, полной решимости продвигаться по этому пути. Комментируя эту ключевую идею, российский политолог Г. Павловский отмечал, что «модернизацию нам и Китай предложит – причем с выездом на дом... Нам нужна европеизация, а не только модернизация, то есть консолидация нации на основе европейского выбора» [НГ, 8.04.2005].

Отношения Брюсселя с Москвой являются решающим тестом их зрелой способности *совместно* предложить адекватную модель глобализации не только евроазиатского континента, но и мира. Это требует признания реальной *субъектности* России, и это возможно, как заявил В. Путин на IX Петербургском экономическом форуме, «при одном неперемennom условии – сохранении и обеспечении суверенитета нашего государства» [МН, 17–23.06.2005].

Это означает, пишет российский политолог К. Косачев, что «российская государственность более *не нуждается во внешней легитимации*, чем грешили перестроечные и первые постсоветские руководители страны» [МН, 10–16.03.2006]. Более того, провал версии европейской Конституции, которая предполагала создание сверхгосударства, отстаивание европейскими государствами своего национального суверенитета, резко повышают шансы голлистской модели «Европы отечеств» и придают легитимность фундаментальному условию сближения

России и Евросоюза – *без потери суверенитета* России. Эти шансы серьезно выросли в свете известного вопроса: «А судьи кто?». Т. Гомар, руководитель программы исследований по России и СНГ (Французский институт международных отношений) резонно отмечал, что «косвенным результатом может стать то, что Москва однажды заявит Евросоюзу: «Что это вы за загадочное объединение, Конституцию которого некоторые его члены ратифицируют, а одни из главных участников отвергают?» [НГ, 31.05.2005].

В этом ракурсе положение России менее загадочно. В открытой, демократической России уже многое зависит от степени *легитимности* курса политической элиты. В этой связи примечательно исследование российского ИКСИ и немецкого Фонда Эберта (2002). Характерно, что «мысль о движении в Европу ассоциируется именно с Европой и лишь во вторую очередь с ЕС... В целом россияне настроены на интеграцию, но они хотели бы входить в европейское сообщество в своем собственном качестве – именно как Россия, а не как еще одна приведенная к европейским стандартам... страна» [Актуальные..., 2003, с. 208, 210, 211–212]. Через два года исследование Института социологии РАН в принципе подтвердило такие ориентации россиян. К Европе положительно относятся 90 %, но по вопросу об отношении к Евросоюзу уровень симпатии резко падает – до 65 % [МН, 2.08.2007].

Значительный перепад российской общественности в почти *единодушно* положительном в отношении к Европе и *сдержанно* положительном – Евросоюзу не случаен. В России хорошо информированы о *сути* той интенции, которую все более выявил Брюссель. О ней писала «Фигаро». Посетовав на «авторитарную политику Путина», газета заметила: «Мы имеем дело с очень уверенной в себе страной, которая не намерена позволять диктовать ей, какие решения она должна принимать. Главное – понять, *как управлять* этим все более отдаляющимся партнером» [Цит. по: МН, 7–13.12.2007].

В выделенном курсивом пункте – самый «циклопический» камень преткновения. В этой связи Т. Гомар писал о «фундаментальных разногласиях», среди которых – «восприятие Евросоюзом своих законов в качестве единственного эталона... Европа должна равняться на предложенную им модель» [Цит. по: НГ, 23.11.2004]. Такая интенция во многом вызвана расширением Евросоюза на Восток, готовностью части политических элит Украины, Молдавии, Грузии, Сербии присоединиться к нему, и в целом – ростом политических аппетитов Брюсселя. В итоге, писал А. Рар, «Москву раздражают геополитические амбиции ЕС на постсоветском пространстве, поучения в вопросах демократии и активное проталкивание Брюсселем своих интересов... ЕС действительно начал *выталкивать Москву с политической площадки*. Она тут же закричала: «Постойте! Россия тоже Европа. ЕС не может один претендовать на Европу» [Цит. по: НГ, 26.09.2005].

Перед нами – все более очевидный политический курс скорее не на консенсус между равными субъектами, а *инкорпорацию* России в Евросоюз. Если он диктуется застарелыми сче- тами – от казаков в Париже в 1814 г. до советских танков в Праге в 1968 г., то ведь, по А. Тойнби, Россия, в свою очередь, всегда испытывала на себе «давление со стороны Западной цивилизации» [Цивилизация..., 2003, с. 46], и, по Александру Невскому, западные «латин- щики хуже татар».

В Евросоюзе далеко не все разделяют такой подход. Это особенно заметно в старом «ядре» ЕС – в Германии и Франции. Экс-канцлер Г. Шредер точно расставил причины и следствия между «наставниками» и «учениками». «Мы, немцы, – пишет он в своих мемуарах, – ответственны не только перед Польшей и другими европейскими странами, мы особенно ответ- ственны именно перед Россией – это обусловлено нашей историей» [Моя жизнь..., 2007, с. 189]. Еще в роли президента Франции Ж. Ширак не только декларировал, что стремится «к прочному, стабильному и уравновешенному партнерству ЕС с Россией» [НГ, 10.03.2005], но и на саммите G-8 в Гленикглсе, сказал: «Я очень люблю Россию и знаю ее так, как мало кто ее вообще знает (Ширак – известный переводчик русской классики – *И. Л.*). Это сложная страна.

После того, что произошло со страной после Горбачева и Ельцина, все, что делает президент Путин, правильно» [Цит. по: НГ, 11.07.2005].

Такие сдвиги все более заметны среди европейских интеллектуалов. Еще недавно А. Рар утверждал о российской готовности развивать «сообщество, основанное на интересах, *вместо* сообщества, основанного на ценностях» [Цит. по: Тиммерман, 2004, с. 115]. Ныне германский политолог упрекает уже ЕС в «безответственном отказе от объединения, даже неформального», поскольку оно предвзято рассматривается «через призму либеральных ценностей» [НГ, 28.07.2005].

Подобная эволюция взглядов заметна для Х. Тиммермана – руководителя берлинской экспертной группы по изучению Российской Федерации. Теоретически для него «степень приверженности России европейским ценностям с точки зрения ЕС существеннейшим образом определяет – по крайней мере, на бумаге – характер и качество партнерства». Однако «теория суха», и когда эксперт переходит к древу эмпирической жизни, обнаруживается, что «фаза гармонии и солидарности» после 11 сентября 2001 г. «уступила место расхождению интересов и ценностей между Европой и Америкой, в то время как ЕС и Россия в международных отношениях все в большей мере занимали одинаковые или близкие позиции» [2004, с. 124]. Но если это так, то *на деле*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.